

---

## СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ СИБИРИ

(Рубрику ведет Тамара Булевич)

**Владлен Белкин**  
(г. Дивногорск)



*Владлен Николаевич Белкин — известный сибирский поэт. Член СП России. Десять лет избирался ответственным секретарем Краевой писательской организации. Изданы три сборника: «Во лжи над пропастью», «Окаянные годы», «Дух и меч». Готовится четвертый. Участвовал в освоении целинных земель в Северном Казахстане. В течение десяти лет в бригаде каменщиков строил красивейший город на Енисее — Дивногорск. Сейчас работает над поэтической летописью «В дни великой смуты».*

\* \* \*

«Русь, куда же несешься ты?»

Н. В. Гоголь

Куда несешься, птица-тройка?  
Какая даль тебя зовет?  
— глаза косит, копытит бойко  
и вновь ответа не дает...  
летит к неведомым пределам  
вихляюще колеей,  
и колокольчик ошалело  
гремит меж небом и землей.

\* \* \*

Мне кажется, даже плечами  
Ее ощущая подчас,  
ту крестную ношу молчанья,  
что стала привычной для нас...

В ней чувствуется дыханье  
сгущающейся грозы,

невысказанного признанья,  
невывлаканной слезы...

Взорваться бы откровеньем!  
Однако из века в век  
о самом своем сокровенном  
помалкивает человек,  
при встречах и расставаньях,  
в собраниях и у костров...  
и ширится грозно молчанье,  
стекаясь со всех уголков.

О чем оно в уши нам дышит?  
чего оно молит и ждет?  
Имеющий душу — услышит.  
Умеющий думать — поймет.

\* \* \*

Над наливающейся рожью  
и над избенкой в три окна,  
над грустным русским бездорожьем!  
предгрозовая тишина...  
все притаилось и молчит,  
как будто про себя гадает:  
куда же молния ударит?  
Кого она испепелит.

### **В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ**

А речка здесь под окнами течет,  
и вечерами Климовны, Сергевны,  
торжественны, как старые царевны,  
на лавках восседают у ворот

Они годами на воду глядят,  
Задумчивы, светлы, несуетливы  
Прибрежные морщинистые ивы  
в глазах их заколдованно стоят.

Сменяются закаты над водой,  
и по одной старушки исчезают.  
мне кажется — они не умирают,  
а ивами встают над той рекой.

### **ПРЕДВЕСЕННЕЕ**

И улыбка, и слеза,  
И смятенье, и истома,  
Белизна и бирюза,  
Полуявь и полудрема...

Еле внятный вдох весны...  
Но уже в продрогшем мире  
Тихо скрипнули весы,  
И качнулись чутко гири.

И вселенная полна  
Откровенья и привета...  
А слеза...  
Слеза, она —  
Не от боли, а от света.

### **ВЕСНА НА СТРОЙКЕ**

Темнеют швы кирпичной кладки  
в морозы сложенной стены,  
и у подсобницы-солдатки  
глаза тревожны и влажны.

И бригадира окрик зычный  
так необычно потеплел,  
и мастеров в руке привычной,  
как жаворонок зазвенел...

Еще весна — лишь прорва света!  
Но роща рыжая спешит  
Знобящий свист в костистых ветках  
сменить на мягкий шум вершин.

И как на празднике девчата,  
березы ходят чуть хмельны,  
и на душе светло и свято  
от их нетленной белизны.

\* \* \*

Я обретал себя в бригаде.  
И от артельного огня  
Шли чередой в мои тетради  
Тревоги прожитого дня.  
Конечно, можно и на стройке  
Хлеб зарабатывать пером,  
А не таскать по трапу стойки,  
Не рыть траншеи под дождем.  
Но гнало что-то нас, однако,  
Из-за столов на ветробой,  
Судьбу выкатывая на кон,  
Вело на трассы и в забой,  
Как та мятущаяся сила,  
Что, не стихая до седин,  
Толстого к плугу вводила  
И Чехова — на Сахалин...

Тут суть не в том,  
Большой ли, малый  
Тебе пожалован удел,  
А чтоб душа на место стала,  
Да чтоб себя не проглядел.

### **ВЕСНА В ТАЙГЕ**

Ручей до дна смородиной пропах.  
Но есть еще в нем пресный привкус снега.  
Через колодник верткая тропа  
легко и круто прыгает с разбега.  
Премудрая старушка — тишина,  
следит за ней сторожко из-за кочки.  
Как в спичечной головке, в каждой почке  
искринка солнца заморожена.  
Поклон тебе, весенняя земля!  
И вещим снам и помыслам высоким.  
В тугих стволах живые стонут соки  
и вторит им тревожно кровь моя.  
И я стою неслышен. Чуть дышу.  
Врастают в землю ноги, словно корни,  
и ветви гибких рук над кряжем горным  
все выше и свободней возношу.  
В лицо ударил ветер горячо.  
Но не могу уже пошевелиться.  
И солнце утомленное  
Жар-Птицей  
садится мне на левое плечо.

### **ЗИМНИЙ НОРИЛЬСК**

Дом крепко апельсинами пропах,  
и кактусы зелеными ежами  
по стеллажам, играя, разбежались,  
и розы жарко рдеют на коврах...  
Но чей-то стон стал комом в проводах.  
Столбы до сердцевины ознобило.  
— Опять кого-то тундра заманила  
и закружила в гибельных снегах...  
Ты видишь, как пурга над ним кадит?  
Ты видишь сквозь заснеженные стены:  
окаменев, устало после смены,  
на кухне молча женщина сидит?  
Над ней — беды чугунное крыло.  
И черный ветер крышами грохочет,  
и давят грудь тысячетонной мглой  
кубические километры ночи.  
А кактусы и розы на коврах  
горят, растут и в скорби, и в метели...

И город  
апельсинами пропах  
у шестьдесят девятой параллели.

### НОЧЬ В ТАЙГЕ

Ту ночь, которая жила  
на грани осени и лета,  
непроницаемая мгла  
околдовала до рассвета.  
Молчанья тайного полна,  
болотным, вязким, донным илом  
в глаза мне хлынула она  
и наглухо заполонила,  
И стал я сам частицей тьмы,  
в глуши гнездящейся извечно,  
и, легкомысленно беспечный,  
был голос мой бесследно смыт.  
И все, что в памяти на дне  
тысячелетия таилось,—  
воинственно насторожилось  
и силу обрело во мне.  
Между колдобин и пеньков  
сторожко ноги пробирались,  
и руки зорко простирались  
среди столпившихся стволов.  
И чуял я глубинных вод  
невозмутимое движение,  
голодных тварей копошенье  
и встреч их будничной исход,  
и затаенный всюду страх,  
и зов тревоги необъятной,  
и привкус крови на губах,  
горячей и солоноватой....

\* \* \*

А был я солнцем и травой,  
вином и хлебом был  
и облаками над рекой  
июльским небом плыл.

Ночами, бредившая мной,  
из праха и огня,  
из пыли звездной и земной  
творила мать меня.

Недаром, до поры таясь,  
чем ближе мой исход,  
родства таинственная связь  
покоя не дает.

И все роднее зов земли  
И огненный рассвет  
с кудлатым облаком вдали  
и яблоком в листве.

\* \* \*

Заблудших меж Содомом и Святыней  
манила вдаль, играя и дразня,  
державная машинная гордыня  
и серых дрызг мышинная возня...

Метался разум в оболочке брэнной,  
но на излете утвердился я,  
что вечен миг в безмерности Вселенной  
и вечна мысль в потоке бытия...  
И вечен Дух.

Хоть прервано дыханье  
и сердце остывает в тишине,  
Но звездами сверкает Мирозданье,  
и облака клубятся в вышине.

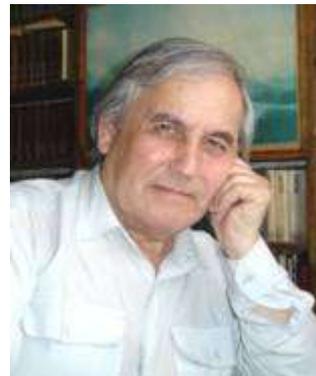
\* \* \*

Терзают беды наш двуногий род...  
И что повинно в этом:  
Дух нечистый?  
Случайность? Кара? Високосный год?  
А может,— набирает оборот  
Великая Космическая Чистка?..

Владыка тьмы ступает тяжело.  
Лютует страх. И ложь наглее стала.  
Но как бы в мире не бесилось зло,  
в небесной выси молнии стило  
спасительное слово начертало...



**Владимир Шанин**  
(г. Красноярск)



## **СУРИКОВ ИЛИ ТРИЛОГИЯ СТРАДАНИЙ\***

*Владимир Яковлевич Шанин автор книг прозы «Памятник для матери», «Белогорюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне», «Имя собственное». Член Союза писателей СССР — России с 1981 года, член Литературного фонда России, член Международного литературного фонда.*

*«Суриков, или Трилогия страданий» — художественный роман-исследование в трех книгах.*

Приоткрыв дверь, тихо, на цыпочках, чтобы не беспокоить больную бабушку, прокралась к себе на кровать Лиза. Наталья Афанасьевна открыла глаза и увидела, что в комнате фиолетовый полусумрак, за окном, незаметно чернея, улицу обволокла холодная синь.

— Окошко-то хоть задерни,— сказала она Лизе. Опять померещилось ей, будто в полое окно заглянул кто-то в белом, с белой бородой.

— Ой, бабулечка, я думала, ты спишь!

Лиза вскочила, сдвинула занавески, присела к бабушке на кровать.

— Чё у вас там стряслось-то? Плачет-то кто — Катя, Вася?

— Вася,— ответила Лиза,— он в углу стоит, папа его наказал. Стулья лакированные в гостиной попортил, гвоздиком исцарапал — зверушек рисовал, ну и...

— Папа бил его?

— Маленько. Ремешком. Она не дала бить...— Лиза никак не звала Прасковью. «Она» — вот и все. И мать родную не помнит, было ей всего два года, как умерла Пелагея Егоровна; и к мачехе не может привыкнуть.— Ух, папа и осерчал же! — прибавила Лиза, и в голосе ее, и в том, как она это сказала, тряхнув головой, можно было без труда уловить мстительное торжество.

— Приведи Васю — я успокою его.

Лиза мышонком юркнула за дверь и — не прошло и минуты — за руку ввела мальчика в комнату. Следом прибежала Катя и полезла в постель к бабушке.

— Наябедничала, поди, да? — сказала ей Лиза.

— И ничего я не наябедничала, я сказку хочу!

— И я хоцю! — Вася стал карабкаться на кровать, Лиза подсадила его.— Хоцю сказку, сказку хоцю!

Наталья Афанасьевна посветлела лицом, подвинулась к стене, и с краешку, потеснив малышкой, примостилась Лиза.

— Чё же вам рассказать-то? — начала Наталья Афанасьевна.— Жил-был царь овес, он все сказки унес. Не знаю, чё и говорить-то! Был себе мужик Сашка. На нем

---

\* Главы из романа.

серая сермяжка. На затылке пряжка, на шее тряпка, на голове шапка — хороша ли моя сказка?

— Расскажи, бабулечка, про Снежка!

— Хоцю пло Снезка, пло Снезка хоцю!

— И я про Снежка!

— Так я уж сколь про Снежка сказывала-то? Все про Снежка да про Снежка... Не надоело? А то, может, каку другу?.. Ладно,— согласилась наконец бабушка.— Только, чур, сказка от начала начинается, до конца сказывается, в середине не перебивается. Лежите смирихонько, слушайте в оба уха, я начинаю...

— Жила-была Баба Яга. Было у нее три дочери: две старшие — двухглазы, а младшая — трехглаза; третий глаз был на затылке. Вот и говорит раз старуха старшей дочери, чтобы шла она в лес да Снежка поймала, а то он всю дорогу завалил, пройти нельзя. Вот пошла старшая дочь, села на дорогу и ждет Снежка. Сидела, сидела да и уснула, а тем временем пришел Снежок, запорошил всю дорожку и дочку старухину тоже. Проснулась дочка, увидала, что прокараулила Снежка, да и думает: как же про то матери сказать? Приходит домой и говорит: «Не могла я, маменька, Снежка поймать». Вот на другой день посылает старуха другую дочь. Пошла дочь, села на дорогу и ждет Снежка; но дожидаться не могла и заснула, а в это время пришел опять Снежок и запорошил всю снегом. Проснулась дочка и видит, что прокараулила Снежка, пошла домой ни с чем. На третий день посылает Баба Яга меньшую трехглазую дочь ловить Снежка. Пошла трехглазка, села под дерево, да тоже уснула, но уснули-то только два глаза во лбу, а на затылке который, тот не спал. Приходит Снежок и начинает запорашивать дорожку, подошел к старухиной дочке, хотел и ее запорошить, да она увидала и схватила его. Приносит его домой и говорит: «Вот, маменька, и Снежок». Обрадовалась ведьма и говорит: «Попался теперь ты мне, я тебя изжарю да съем, а косточки на полку поставлю». Посадила Баба Яга Снежка в подполье и велела старшей дочери печь топить. «А как печка истопится, то положи Снежка на лопату, да и в печку его; из печи вынь, накроши да на полку поставь, а я приеду, так закушу им». Собралась ведьма на свадьбу с двумя младшими дочерьми и уехала. Истопила старшая дочь печь, достала лопату, положила ее на шесток, отворила подполье и говорит: «Вылезай, Снежок!» Стал из подполья Снежок выходить — одна нога об пол, другая в потолок. «Ну, ложись на лопату!» — «А как ложиться? — спрашивает Снежок.— Покажи сама, я не знаю». Дочка и легла на лопату, а Снежок посадил ее в печь. Изжарилась дочка, искрошил ее Снежок и поставил на полку. Приходит Баба Яга домой, сняла мясо с полки и стала есть. Ест да нахваливает: «Ай да мясо, пальцы облизешь!» А Снежок из подполья и говорит: «Сладко доченькино мясо!» Увидала ведьма, что Снежок жив, приахалась: «Ах ты, непутевый, что наделал! Подожди ужо, испеку тебя!» Поехала на другой день Баба Яга, взяла с собой младшую дочь, а средней наказала печь истопить и Снежка изжарить да на полку поставить. Истопила средняя дочь печь. Достала лопату, положила ее на шесток, отворила подполье и говорит: «Вылезай, Снежок!» Стал из подполья Снежок вылезать — одна нога об пол, другая в потолок. «Ну, ложись на лопату!» — «А как ложиться? — спрашивает Снежок.— Покажи сама, я не знаю». Дочка и легла на лопату, а Снежок посадил ее в печь. Изжарилась дочка, искрошил ее Снежок и поставил на полку. Приходит Баба Яга домой, сняла мясо с полки и стала есть. Ест да нахваливает: «Ай да мясо, пальцы облизешь!» А Снежок из подполья и говорит: «Сладко доченькино мясо!» Увидала ведьма, что Снежок жив, приахалась: «Ах ты, непутевый, что наделал! Подожди ужо, испеку тебя». Поехала на третий день Баба Яга. А младшей наказала печь истопить и Снежка изжарить да на полку поставить. Истопила младшая дочь печь, достала лопату, положила ее на шесток, отворила подполье и

говорит: «Вылезай, Снежок!» Стал из подполья Снежок выходить — одна нога об пол, другая в потолок. «Ну, ложись на лопату!» — «А как ложиться? — спрашивает Снежок.— Покажи сама, я не знаю». Дочка и легла на лопату, а Снежок посадил ее в печь. Изжарилась дочка, искрошил ее Снежок и поставил на полку. Приходит Баба Яга домой, сняла мясо с полки и стала есть. Ест да нахваливает: «Ай да мясо, пальцы оближешь!» А Снежок из подполья и говорит: «Сладко доченькино мясо!» Увидела ведьма, что Снежок жив, приахалась: «Ах ты, непутевый, что наделал! Подожди ужо, испеку тебя!» Истопила Баба Яга печь, достала лопату, положила ее на шесток, отворила подполье и говорит: «Выходи, Снежок!» Стал из подполья Снежок выходить — одна нога об пол, другая в потолок. «Ну, ложись на лопату!» — «А как ложиться? — спрашивает Снежок.— Покажи сама, я не знаю». Баба Яга и легла на лопату, а Снежок посадил ее в печь. Отворил тогда Снежок двери, убежал на волю и стал порошить снегом по всему свету белому, да вот до сих пор и порошит...

За то время, пока сказка сказывалась, дважды отворялась дверь в комнату — заглядывали то отец, то мать, чтобы забрать к себе детей, но не решались перебить плавно текущую, монотонную и вроде бы скучную речь старой казачки. Было совсем темно, в окно сквозь тонкую ткань занавесок сочился желтый свет луны, в черных углах затаился страх, про который бабушка, бывало, говаривала, когда Лиза была еще маленькой: страху в глаза гляди, не смигни! — и не будешь бояться... Лиза переборолась себя и уже не боялась, какую бы страшную сказку бабушка ни рассказывала. А малыши к концу сказки обычно засыпали, убаюканные тихим, ровным голосом. И в третий раз отворилась дверь, вошла Прасковья в ночной рубашке и осторожно унесла спящую Катю. Следом за нею, взяв на руки сопевшего во сне Васю, поспешила и Лиза. Когда Лиза вернулась, бабушка уже спала; она засыпала быстро, словно проваливалась в неглубокий старушечий сон, как в яму, из которой нетрудно выбраться, она и выбиралась часа через два-три, а потом до самого утра не могла сомкнуть глаз. Утром опять засыпала, и тогда проснувшейся Лизе казалось, что бабушка спит больше, чем она сама, чем Катя или Вася. Лиза, откинув одеяло, смело прыгнула в холодную постель. Но согреться не смогла, как ни пыталась: и с головой вернулась в одеяло, и подтянула колени к самому подбородку, — и все равно мерзла. Тогда она решительно перебралась под одеяло к бабушке, прижалась к ее горячему телу и тотчас почувствовала, как бабушкино тепло переливается в нее и уходит куда-то истомная зябкость.

Наталья Афанасьевна, однако же, не спала, лишь забылась в нахлынувших воспоминаниях, и очнулась от холода — будто бы к ее боку подкатили камень. Она повернулась, обняла внучку, а та встрепенулась, как птичка в руке, изгоняя остатки зноба.

— Вот помру, кто тебя, сироту, согреет? — Старуха крепче прижала Лизу к себе.— Чую, жить мне совсем немного осталось — до весны. Это хорошо, что весной-то, а то в каленую стынь и могилы доброй не сладить, копщикам одна маета — землю долбить.

— Да чё ты, бабушка, замирала-то? Как же я без тебя? Живи!

— Пожить бы пожила, как не пожить, да уж отжила, знать, уж теперь и в могилу одною ногою ступила, весной в доски уйду. Блаженный Феодор Кузьмич так и сказал мне: зиму, дескать, переживешь! А он, чё бы ни говаривал, сбывалось. Он мне напрозорил, я тогда у окна стояла, а он — под окном на улице, осенью ишо. С той поры и жду, смертный узелок наладила, в сундуке на низу лежит. Как помру, ты его, внученька, достань. Смотри, не забудь!

— Не забуду, бабушка, только мне не хочется, чтобы ты умирала! — Лиза всхлинула, рывком повернулась к бабушке, зарылась лицом в ее мягкую теплую грудь.

Старуха погладила ее по голове, вздохнула:

— Хошь не хошь, из годов я давно ушла, землю подернулась, пора и на бугорок уйти! А ты меня помни, внученька, вспоминай. А на Родителей день — поплачь: твои чистые слезыньки мою душу страдающую омоют, и возрадуется душа, и покойно мне будет лежать во сырой земле.

— А ты в рай попадешь, да, бабуля?

— Ежели Господь милостив — может, и в рай. А сначала каждый проходит чистилище, и я должна... Все земное, плотское, со всеми моими грехами, перегорит в чистилищном огне через мои страдания, через мытарства, и только тогда душа вознесется на небо.

— Я буду молиться за тебя. И не только в Родителей день — всегда! А где находится чистилище, а, бабуль?

— Во внутренности земли, между раем и адом.

Вскоре Лиза согрелась и наконец сомлела, стала засыпать. Это было и приятно, и неожиданно: приятно — что она как бы поплыла на волнах сна, растворяясь в нем, или это душа ее осторожно выбиралась наружу полетать на свободе, отчего телу становилось легко, невесомо; неожиданно — что еще один вопрос, вертевшийся на языке, остается без ответа, который она хотела бы получить. Пустяшный вопросик, но он мешаает полностью отдаться стихии сна, он, как шило, нацелился и сейчас уколует, и Лиза, усилившись, одеревеневшим языком вытолкнула два слова:

— Это далеко?

— Не знаю, ластонька моя, живые там не бывали, а мертвые не возвращались...

Проснувшись Лиза в бабушкиной постели и удивилась: а где же бабушка? Вспомнила: так сегодня же праздник! В честь Казанской иконы Божьей Матери! Вон и колокола звонят! Бабушка уже в церкви, собрала, какие еще есть, силы и ушла. «Как это я забыла о празднике?» — упрекнула себя Лиза, не делая, однако, попытки выбраться из-под теплого стеганого одеяла — в комнате было холодно: или Дуняшка с вечера поленилась прокалить печи, или Андрей не натаскал достаточно дров, или ветер выдул тепло из комнаты, смотревшей окнами на восток, — попробуй дознайся, кто виноват. Однако то, что печи были плохо протоплены, Лиза почувствовала еще вчера. Надо бы встать, одеться, пасть на колени перед святой иконой, а ни сил, ни смелости не хватило высунуть нос. От собачьего холода мерзла даже маковка головы.

— Прости меня, Матерь Божия, — сказала Лиза, скосив глаза на иконы в углу, — нет сил преодолеть холод! — Перекрестилась прямо под одеялом и стала шептать молитву: «Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиренной и окаянной рабы Твоея, уныние, забвение, неразумие, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нища есмь и окаянна; и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободы мя: яко благословенна еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь».

В доме было тихо — наверное, и мачеха в церкви, а дети еще дрыхнут, и отец, и постояльцы, как ранние пташки, укатили на службу, — но нет, кто-то спускается по лестнице: скрип-скрип-скрип-скрип... Ага, это два казака, постояльцы Старцев и Сидоров, стараясь не шуметь, осторожно ступают по ступеням — во как высколила их Прасковья! Лиза представила, как вышагивают эти двое, какое при этом у них выражение лиц, и ей стало вдруг весело. Она прыснула со смеху, и в это время в комнату вошел отец. Его появление было так неожиданно, что Лиза растерялась, притихла, как мышка, потом шевельнулась, медленно стянула с лица одеяло.

— Не спишь? — заговорил Иван Васильевич и, подойдя к окну, раздернул занавески. — Вставай, нечего нежиться, вон уже день на дворе! Скоро дети проснутся: оденешь, умоешь, накормишь...

— Х-холодно! — Лиза откинула одеяло и тотчас обмерла: все тело мигом стянула «гусиная кожа», а ночная рубашка показалась рубищем, сшитым из фольги.

— Всю ночь гремела буря,— сказал Иван Васильевич,— неужели ты ничего не слышала?

— Н-нич-чего, я спала.

— Гудело так, что, думал, крышу снесет, но все обошлось. А вот у Абалаковых забор повалило, у Каратановых стожок сена унесло, в мастерской богомазов ставню вырвало и забросило аж во двор к Веньковым на Качинскую улицу. Такой бури и старожилы не помнят!

Вся дрожа от холода, Лиза быстро оделась, набросила толстую бабушкину шаль на плечи и выглянула в окно. Улицу точно подмело; ночной бурей вынесло и рассеяло по закачинским далям еще не окрепший снег, выпавший на Покров, до чугунной черноты обнажились дороги, лишь кое-где у заплотов с наветренной стороны лежали грязные сугробы. Утро сулило хороший день — ясное небо, играющее в легкой дымке на горизонте холодное солнце, безветрие, веселое чириканье воробьев,— но никто не может предугадать, что станет с погодой уже к полудню.

— На улице теплее, чем в доме,— сказал Иван Васильевич.

— Да?! — удивилась Лиза.— А я совсем застыла.

— Скоро оттаешь,— улыбнулся Иван Васильевич,— все печи в доме затоплены, потерпи. А теперь ступай к детям. Если проснулись, что-нибудь им почитай, но пусть лежат, пока теплее не станет. У тебя есть что читать?

— Да, папенька. Я стишок выучила: Василий Львович задавал...

— Кстати, как ты там у него учишься?

— Хорошо, папенька, мне нравится...

Как всегда, поговорить с дочерью обстоятельно, как отец, как самый близкий человек, Ивану Васильевичу было некогда; всякий раз, как только разговор намечался и Лизина душа приоткрывалась, подавалась ему навстречу, отец умолкал, опускал глаза и уходил, находя для этого сотню причин. Лиза обижалась, даже злилась. Капризничала, плакала, а порою ненавидела весь дом, но стоило отцу сказать ласковое слово, она все-все прощала ему. Вот и сейчас он вдруг сделался угрюмым, плечи опустились, в глазах потух праздничный свет, отчего у Лизы тоже все опустилось внутри, душа съежилась.

Пробормотав, что ему надо идти, и что он торопится, Иван Васильевич быстро вышел из комнаты.

Дети уже проснулись и шалили, показывая друг другу язык и дразнясь. Здесь было намного теплее, однако Лиза, помня наказ отца, не стала поднимать Катю с Васей, а, наоборот, плотней укутала и приказала им лежать смирно, сама же села рядом на исцарапанный Васей стул и раскрыла книжку. Но прежде чем приступить к чтению, строго спросила: с чего это они передразнивали друг друга? Вася молчал, надув губы, а Катя, девочка бесхитростная и смышленная, просто, как на духу, призналась:

— Он первый стал дразниться, вот! А я только сказала, что мама скоро Васе подарит сестренку. Я говорю: «Вася, мама тебе сестричку подарит!» А он: «Не надо сестрички!..» И показал язык.

Тут Васе показалось, что Катя говорит не то, что говорил он, что она все-все переврала, и вздумал поправить ее.

— Не хоцю сестричку,— сердито воскликнул он,— хоцю зелебеньцька с колокольчиком!..

На правах старшей сестры Лиза старалась пресекать всякую ссору между детьми, сделала это и сейчас. Подражая мачехе и голосом, и манерой говорить, она строго произнесла:

— Ну, вот что, господа хорошие, учтите: если еще хоть раз увижу, что языки по-

казываете, дразнитесь и вопите, как сумасшедшие, ничего я вам больше читать не буду. Поняли?

— Поняли, поняли! Больше не будем!

— А теперь слушайте, что сказал Господь Моисею: вчера мы остановились на этом месте: «И сказал Господь».

Лиза почти наизусть знала текст и потому читала бегло, без запинки, с выражением, тоже явно кому-то подражая:

— «И сказал Господь Моисею: вот я одожду вам хлеб с неба; и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, белое, как иней на земле.

И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал нам в пищу.

И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом.

Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обетованную»...

Из церкви воротились бабушка и мать, причем старая казачка сразу повалилась на сундук — отдышаться, Прасковья бросилась к ней, чтобы разуть-раздеть, но гордая старуха не позволила. Заслыша голоса, дети радостно закричали, завизжали, взялись барахтаться под одеялом, которое в конце концов сбили в кучу, и оказались на холоде в одних ночных сорочках. Лиза на них прикрикнула, первой утихомирилась Катя потянула на себя одеяло, а непослушному Васе пришлось дать хорошего шлепка, после чего и он, обиженно засопев, успокоился, и в комнате стало тихо. Но недолго, однако, длилось это спокойствие. Через минуту Вася затеял новую возню, Лиза опять его шлепнула, пригрозив, что пожалуется матери на плохое его поведение, и благоразумная Катя, спасая брата от Лизиних строгостей, предложила «поиграть в загадки».

— Ладно, — согласилась Лиза, — отгадайте: что это? Махнула птица крылом и покрыла весь свет одним пером.

— Ночь! — ответила Катя; видимо, знала отгад заранее.

— А вот еще загадка. Одна птица кричит: мне зимой тяжело; другая кричит: мне летом тяжело; третья кричит: мне всегда тяжело. А это что?

Ни Катя, ни, тем более, Вася, которому игра скоро наскучила, так и не смогли отгадать загадку, и Лиза наконец смилостивилась.

— Эх, вы, — упрекнула она детей, старающихся изо всех сил в этих трех птицах представить нечто знакомое, встречаемое, может быть, на каждом шагу, — да как же не знать этакое-то, а? Да это же — сани, телега, лошадь!.. Ну, а теперь играйте без меня!

В комнату вошла Прасковья, пощупала печь — она была уже теплой, но воздух в помещении еще не прогрелся — и, присев на край кровати, спросила Катю и Васю, не холодно ли им было спать, на что дети в голос ответили: нет, не холодно!.. Они готовы хоть сейчас одеться и бежать на улицу, но мать приказала еще немножечко полежать.

Тем временем Лиза помогла бабушке снять шубу и чарки, принесла ей теплые, мягкие пимы, в которых старуха, шаркая, ходила по дому, на плечи набросила толстую шаль-самовязку. И хотя Наталья Афанасьевна от всего отказывалась, ворчала, что она сама и оденется, и обуется, и что руки у нее еще не отсохли, все же было приятно ей такое искреннее внимание, любовь к ней уже почти взрослой внучки. Она хорошо отличала фальшь от искренности и не каждому доверялась.

А тут подоспел и завтрак. Несмотря на кажущуюся нерасторопность, Дуняшка все делала быстро, показала себя примерной стряпкой, даже дети это заметили. Както за столом наблюдательная Катя сказала: «У нас тетя Дуня — стряпанька. А мы — ешки!» Все тогда посмеялись, конечно, однако и оценили Катю за образное мышле-

ние, а Дуняшку — за ее кулинарные способности. И на этот раз она постаралась, подала на стол пышные оладьи, поставила сковороду с толченой картошкой, облитой сметаной и протомившейся на горячем поду в печи до румяной хрустящей корочки, любимой детьми. Само собой, как лакомство или забаву, не забывала Дуняшка подсыпать в вазу сушеной черемухи — этой черной, с крупной косточкой, вяжущей во рту ягодой любили лакомиться не только дети, но и взрослые.

За стол не садились до тех пор, пока не даст команду хозяин, которого ждали с минуты на минуту. Тепло одетые, умытые и причесанные, Катя с Васей резвились, бегая друг за дружкой вокруг стола, а Лиза внимательно следила за ними из своего угла. Прасковья на диване чинила Васино пальтишко — где-то уже успел порвать, разбойник этакий! Конечно, в праздник работать — грех, но это не тот грех, который нельзя было отмолить. За эту работу Бог не накажет. Вот и свекровь, соблюдающая все посты, не сделала ей замечание, — значит, всякая работа во благо ненаказуема.

Само собой разумеется, хозяином дома, за болезнью Натальи Афанасьевны, считается Иван Васильевич. Но это только для видимости да еще для того, чтобы он не догадывался, что это не так, ибо весь дом держался на плечах Прасковьи. Она была и хозяйкой, и домоправительницей, и вообще «домовым» — опять же по образному определению пятилетнего ребенка. «Домовой — это хозяин дома, старший в семье, — как-то сказала Катя, — он совсем — как наша мама, всех ругает, чтобы вытирали ноги и мыли руки перед едой!»

Наконец явился Иван Васильевич. Пока он раздевался, Дуняшка внесла кипящий самовар — последний штрих в приготовлении к завтраку, и убежала в кухню, где для нее самой и Андрея приготовлен стол, и оттуда наблюдала, как собирается семья, каждый на свое место за общим столом, привычное и определенное раз и навсегда. К закуским не притрагивались, ждали Наталью Афанасьевну, когда она сползет со любимого своего сундука.

Тяжело ступая распухшими, натруженными за утро ногами, старая казачка, прежде чем сесть за стол, осенила себя крестным знамением и зашептала молитву: «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и ты даеши им пищу во благовремения, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения». И еще трижды перекрестилась. Остальные же все только перекрестили лоб, не вставая. Даже Вася взмахнул, как его учили, ручонкой. Однако же Прасковья молитву прочла. Было заметно, что и Лиза держала ее в себе.

В другое бы время Наталья Афанасьевна сделала строгий выговор за то, что не встали благоговейно, оборотясь ликом своим к божнице, и не представили себя пред Всевышним Богом; что, сотворив крестное знамение, поленились произнести слова святой молитвы; что Господа нашего нынешняя молодежь совсем почитать перестала, за что и будет наказана. А ведь всего-то и надобно было: прочтя молитву, помедлить — чтобы все чувства ушли в тишину, и мысли оставили бы все земное, — и только потом приступить к трапезе, без поспешности, со вниманием сердечным.

Но ей, как видно, было уже все равно: старость и болезни притупили чувства...

После завтрака, просматривая газеты, Иван Васильевич или же зачитывал отдельные строки вслух, или же кратко пересказывал целый столбец любопытной статьи.

— Вот уже и «Московские ведомости» о нас пишут, — говорил он своим характерным глуховатым голосом. — «Среди инородцев Енисейской губернии продолжает свирепствовать жесточайшая оспа, которая так и косит людей. По лесам и тундрам валяются трупы и привлекают к себе хищных животных. С началом холодов оспа вроде бы поубавилась, но... Местные власти обеспокоены, как бы эта зараза не перекинулась на русское население».

— И не приведи Господь этакого лиха! — вздохнула Прасковья.

— «Основано в Сибири первое ученое общество, — продолжал Иван Василье-

вич,— Сибирский отдел Императорского Русского Географического общества с штаб-квартирой в Иркутске». «Подписан заключенный с Китаем Кульджинский торговый трактат, которым устанавливалась меновая и беспошлинная торговля русских с китайцами в Кульдже и Чугучаке». «Из Верхнеудинского и Нерчинского округов Иркутской губернии образована Забайкальская область с возведением Читы из деревни с острогом на степень областного города». «Преобразованы полки Иркутский, Енисейский и Забайкальский. Причем последний поступил в состав Забайкальского казачьего войска». «Крестьяне Нерчинских горных заводов зачислены в казачье сословие...».

С тех пор, как Высочайшим приказом Иван Васильевич был определен в штат Енисейской казенной палаты, в число канцелярских ее чиновников, да к тому же еще произведен в коллежского регистратора со старшинством с 14 октября 1849 года — первый гражданский чин XIV класса Петровской Табели о рангах, дающий права на почетное гражданство, а следовательно, и повышение размера жалованья,— он еще ревностней стал читать столичные газеты, следить за новостями, касающимися не только Енисейской губернии. Казенная палата — серьезное учреждение. Главный орган Министерства финансов в провинции, существующий по всей России с 1775 года,— «ведает взимание и разверстку прямых налогов, торги на сдачу казенных подрядов, ревизию казначейств и др.». Служба ответственная и требует много внимания, знаний, честности, порядочности. Он сам попросился туда. И губернатор Падалка подписал прошение, не возражал и председатель Казенной палаты Высоцкий, тем более что случилась вакансия. И тот и другой отлично понимали: Сурикову, чиновнику безотказному и работящему, обремененному семьей, тем более что недавно родился у него еще один сын, Николенька, надо помочь, сам же он вряд ли продвинется по служебной лестнице: робок и не заискивает перед начальством. А служит он добросовестно и в отпусках еще не бывал. И биография безупречна, о чем говорят скудные записи в Формулярном списке.

Более чем сам Иван Васильевич, его назначением была довольна Прасковья; она называла его теперь «Ваше благородие».

Шелестя газетой, Иван Васильевич то хмыкал, то качал головой, то хмурился, если вычитывал нечто неприятное.

— Чё-то ты, ваше благородие Иван Васильевич, про торговлю с китайцами читал, я не поняла, чё в том трактате нового? — Прасковья подняла на мужа свои красивые блестящие глаза.— И дедушка мой, и тятенька от китайцев немалые клади с чаем в Сибирь везли, все хорошо было, а теперь че, еще лучше станет? Или хуже? Или, может, каки препоны поставят?

— Какие могут быть тут препоны! Просто узаконивается государственная торговля. Кульджинский трактат разрешает пограничную торговлю между западной Сибирью и западным Китаем и отличается от Кяхтинского тракта тем, что сосредоточивает торговую деятельность подле границ в китайских городах.

Из пространного объяснения мужа Прасковья поняла одно: торговать с китайцами можно теперь вдоль всей границы, и притом совершенно свободно.

— Вот и тятеньке надо бы про то знать,— сказала она.— А еще чё там про торговлю-то пишут?

— Статья двенадцатая трактата гласит: «Купцы обоих государств, при промене своих товаров, не должны ничего отпускать друг другу в кредит. Если, вопреки этой статье, кто-нибудь отпустит свой товар в долг, то чиновники, русский и китайский, в это дело не вмешиваются и никаких жалоб, если бы они и последовали, не принимают». И торговать на золото и серебро воспрещается...

Скучный разговор отца с мачехой Лиза уже не смогла вынести; забрав малышей с собою, она удалилась в свою с бабушкой комнату, где было и теплей, чем в зале, и покойней, и можно будет послушать сказку, если бабушка в настроении.

Наталья Афанасьевна молилась перед иконою Божьей Матери, впервые не встав на колени; видно, боялась потом не подняться самостоятельно, а позвать на помощь кого-нибудь она себе не позволила бы. Конечно, Лиза прибежала бы мигом, но старая казачка и ей не хотела показывать своей немощи.

— Пошли бы на улку да погуляли,— сказала она, кончив молиться.— Такая благодать там, на улке-то! Будто и бури никакой ночью не было: тихо, тепло. Солнышко светит! Ступайте! А я че-то устала, полежу маленько.

— А сказку расскажешь, баба? — Катя прижалась к ее ноге, обхватила руками. К другой ноге, глядя на сестру, приласкался Вася и тоже стал требовать сказку. Годовалый Николенька молчал.

— Будет, будет вам сказка, только идите!

Дети с визгом бросились вон из комнаты, засуетились в поисках верхней одежды, захныкали от нетерпения, отчего отец вынужден был прикрикнуть на них со всей строгостью. Мать одевала Катю, Лиза обувала Васю. Видя, что Катя уже одета и ждет его, Вася стал нервничать и кричать:

— Где мое дволянское пальто?

— Какое, какое пальто? — развеселилась Лиза.

— В котолом я во дволе гуляю...

И впрямь, день занимался теплый, солнечный, тихий. На голубом прозрачном небе — ни тучки, ни облачка, воздух был неподвижен и чист, как в колодце, куда на минуту заглянуло солнце, легкий морозец бодрил, и совсем не чувствовалось холода. На востоке, за Енисеем, в горах, покрытых густым лесом, снег лежал толстым слоем, а на западе, за Качей, на лысых сопках, обдуваемых всеми ветрами, его как бы и не было вовсе, лишь кое-где в березовых колках, прилепившись к комлям деревьев, запутавшись в будылях пожухлой, жесткой, как щетина, травы, белели сирые комочки снега, похожие на отдыхающих гусей.

Суриковский двор тоже был подметен бурей до самой земли, но амбар, завозня, конюшня, баня оказались в сугробах снега, и до того плотного, что можно было по нему съехать вниз, как с катушки. Малыши придумали себе игру, стали барахтаться в снегу, хохотали и визжали от удовольствия. А Лиза тем временем лопатой отбрасывала снег от конюшни. Этого она могла бы и не делать — работник Андрей откопал двери и очистил подходы к ним, — стоять же без дела она не позволяла себе никогда.

Вышел из дома работник Андрей, одетый легко, в меховую безрукавку и шапку, ласково поздоровался с Лизой, посюсюкал с детьми, присев на корточки, после чего вывел из конюшни одноухого Карку — походить на воле. Старый жеребец, изрядно поседевший и почти слепой, высоко вскинул морду и тихо заржал, словно приветствуя холодное солнце.

Он ступал по обледенелой земле осторожно, нюхал воздух и, как бы собирая невидимые зерна, рассыпанные по снегу, быстро-быстро перебирал дряблыми губами. Вася замороженно смотрел на него, смотрел и вдруг побежал навстречу. Лиза обомлела.

— Куда? Вернись! — закричала она, топнув ногой.

— Да не бойсь, барышня, Карка смирный,— улыбнулся Андрей и, подхватив мальчика, посадил его на спину жеребцу.— Ну, держись, казак! За гриву держись!

...Вечером, рассказывая бабушке о том, как Вася верхом ездил на одноухом Карке, Лиза восхищалась не тем, как сидел мальчик на лошади и как повизгивал от счастья, а потом плакал, когда его ссадили на землю, — она с восторгом говорила о работнике Андрее: как он водил жеребца по двору, держась одной рукою за длинную гриву, а другой придерживая Васю за ногу, чтобы не скатился, да как при этом приплясывал, присвистывал, сыпал шутки-прибаутки, орал неприличные припевочки.

Слушая, Наталья Афанасьевна опять отдалилась, воротилась памятью своей в от-

таявший после долгой зимы Туруханск, когда пятнадцать лет назад она так же вот держалась за гриву Карки, а жеребец послушно шел рядом по левую руку. Тогда они оба были моложе, оба потеряли казака — наездника, хозяина, и им было грустно, теперь же обоим, как видно, друг друга не пережить.

Угломнить расшалившихся малышей в тот вечер Лизе не удалось. Перед сном они требовали от бабушки новую сказку, пришлось выдумывать, присочинять.

Неожиданно — давно уже такого не было в доме — зазвучала в зале гитара, несколько уверенных мелодичных аккордов, а затем полилась, потекла из тесного горла, как ручеек из ущелья, тягучая и грустная песня, с первых же слов бередившая душу:

*То не ветер ветку клонит,  
Не дубравушка шумит —  
То мое сердечко стонет,  
Как осенний лист дрожит.*

*Извела меня кручина,  
Подколотная змея!..  
Догорай, гори, моя лучина,—  
Догорю с тобой и я!*

Пел отец. Это его любимая песня. В праздники, на вечеринках в Дворянском собрании, в гостях или просто так, под настроение, он брал гитару и пел. И всегда начинал с этой песни. Голос у него высокий, приятный, с трогательной грустинкой, окрашенный легкой хрипотцой особенно тех музыкальных звуков, где острее ощущается тоска, где становится больно горлу от желания заплакать.

Бывший губернатор Копылов, объезжая обширный край, непременно брал с собой Сурикова в качестве чиновника походной канцелярии, и непременно с гитарой. Уже несколько раз ездил Иван Васильевич и с новым губернатором Падалкой: в Енисейск, в Канский и Минусинский округа. Потом вдруг Иван Васильевич перестал петь даже дома, не говоря уж о том, чтобы пением ублажать гостей. И вот снова запел...

*Не житье мне здесь без милой:  
С кем теперь идти к венцу?  
Знать, судил мне рок с могилой  
Обручиться, молодцу...*

Дети, любившие, замерев, слушать, как поет отец, поспрыгивали с кровати и убежали. Только Лиза осталась с бабушкой — ей и отсюда слышно. А впрочем, она знала — рядом с отцом сидит мачеха, и ей, Лизе, лишний раз не хочется мелькать перед ее глазами. Она сидела в ногах у бабушки, обхватив голые коленки руками, и слушала, и слезы ручьями текли по щекам.

Песня тронула душу и старой казачки, но слез у нее не было; вздохнув, она попросила Лизу приблизиться, поцеловала в лоб и с жалостью произнесла:

— Душа-то у него как тоскует, чуешь, внученька?

Лиза кивнула.

— Пелагеюшку, мать твою родимую, никак не может забыть, по сю пору любит покойницу, я-то знаю!

— А какая она была, моя маменька? — оживилась Лиза и прилегла рядом с бабушкой. — Ведь я ее совсем-совсем не помню!

— Оно и не мудрено, что не помнишь: тебе и двух лет не было, когда она померла. В три дня горячкой сгорела, сердешная! Совсем еще молодая — в двадцать пять годочков Господь забрал ее к себе. Царство ей небесное! На Всехсвятском кладбище и погребена. Теперь хоронят у Троицкой церкви, за речкой Качей. А Всехсвятское-то,

говорят, переносить будут, прах усопших шевелить, прости им, Господи, их прегрешения!

— Я на маменьку похожа или на папеньку?

— Больше — на маменьку. А иной раз глянешь — и на папеньку смахивашь. Подбородок-те и вовсе папенькин!

— Красивая была маменька?

— Красива, ничё не скажешь. Привлекательна! Хороша собой! А певунья и плясунья — таких и не сыщешь ноне! Иван Васильич как увидал ее, так сразу и полюбил. Веселого нрава была девушка! И тоже рода торгошинского.

— Торгошинского?! Значит, маменька покойная с... этой — родственники?

— Суриковы с Торгошинными издавна породнились, еще когда Красноярска не было. А потом вместе строили острог, свадьбы гуляли: у Торгошиных-то все девки рождались, а у Суриковых — робята. И так все перероднились в той станице, что и не разберешь, кто от кого пошел. Торгошины — купцы богатенькие, и казаки считали за честь взять из тех семей девушку в жены.

«Так вот отчего папенька так неласков ко мне и мрачнеет, когда ему хочется меня приласкать! — догадалась Лиза. — Он до сих пор любит маменьку, царство ей небесное, а я на нее похожа, значит, и меня любит. Славный мой, хороший, дорогой ты мой папенька! И я тебя люблю. Очень, очень!»

И от нахлынувших чувств нежности к отцу, от его голоса, окрашенного тоской с последним, жалобно дрожащим аккордом гитары, Лиза сладко заплакала.

— Чё ты, чё ты, внученька? Чё с тобой? Разбередила я твою душеньку! Ну, поплачь. Поплачь, милая... — Наталья Афанасьевна тоже растрогалась, и у нее проканула слеза. — Нам, казачкам, обязательно поплакать надо, — сказала она, — слезыньки душу смягчают, унимают боль. И от горя мы плачем, и от радости. Только мужчинам слез не показывай — не любят они этого. Перед свадьбой-то ох и поплакала я! И хоть бы кто видел? Никто!

— А как все это происходит, бабуленька: сватанье, свадьба, венчанье?.. Жутко интересно! — Слезы у Лизы высохли, душа отмякла и успокоилась. Хотелось узнать, какое оно бывает, счастье.

Лиза была уже в той девичьей поре, когда эти вопросы волновали ее воображение, ей хотелось узнать о таинстве священного брака, но говорить о том с мачехой она стеснялась.

— Когда приходят сватать, — начала Наталья Афанасьевна, — такое вот заведение есть: хлеб, сало, вино ставят на стол. А перво-наперво сваху присылают, а потом уж смотренье делают. Родители невесты назначают жениху плату, размер выкупа. Ежели невесте жених не глянется — сказать нельзя, не скажут, а запрос запросят большой, он и отступится.

— А если глянется?

— Тогда посылают за женихом, выговор выговаривают — невеста просит с него подарки: отцу, к примеру, сапоги, сестре — кокетку. Высватают ее, запой делают, у невесты гуляют — пропивают, а после сговора невеста невестит, девишник устраивает: сидит невеста за столом, а жениховы друзья деньги дают. Сестрам деньги дают, подругам. Дары дарят, чтобы не отказалась, а ежели отказалась — с нее берут. Девки и робята вечерку играют, всяки песни поют...

— А потом?..

— Само собой — венчанье. Вечером перед венчаньем невесту в баню ведут. А в бане девки мылами кидаются: ежели попадешь, то замуж выйдешь... Утром, как в церкву идти, заходят друзья и подружки невесты. На стол ставят три закуски, обязательно три закуски надо! После венчанья весь свадебный поезд едет в дом жениха, а хрестный — к его невесте по постель. Ну, а девки-то там уж рядятся, выкуп просят.

Ну, даст он им какой рублишко... А на свадьбе обязательно три жарка положено: поросенок, гусь и жаркое — скотско мясо, тоже по разности подают... Но обязательно три жарка!..

Истончась на последней ноте, улетев высоко, стихла песня, отзвенел в воздухе звук тонкой струны — и дом на секунду замер, очарованный, охваченный тихой грустью. Потом послышались голоса — очевидно, дети просили отца спеть еще, к ним присоединился голос матери и, кажется, Дуняшкин; Иван Васильевич, однако, всем отказал, повесил гитару. Такой уж он человек: если сказал «нет» — никто не уговорит его, упрямаца.

«Ну, все,— подумала Лиза,— сейчас взбегут Катя с Васей и станут канючить, чтобы бабушка рассказала им сказку...»

Наталья Афанасьевна Сурикова умерла 20 мая 1852 года. Так все и произошло, как предсказал блаженный Феодор Кузьмич в тот заснеженный октябрьский вечер, святой образ которого одна только она, старая казачка, и увидела через окно. Старец был в длинной белой рубахе, перехваченной в талии пояском, — точно такой же, каким она узнала его еще раньше, на богомолье. Он сказал ей: «Зиму переживешь!» — и этой зимы хватило, чтобы достойно подготовиться к смерти. Она умерла в день памяти святого Фалалея — врача Алексия, митрополита московского. Накануне исповедалась и причастилась.

День был сухой, знойный — сущий летний день; от пылающих на горах за Енисеем лесов над городом стояла удушливая мгла, в воздухе растворилась черная изгарь; через серую пелену солнца смотрелось зловещим красным шаром. К двум часам по полудни мгла и изгарь сгустели, стало трудно дышать. Между тем, и по всему было видно, где-то далеко, за Куйсумскими горами, прошел обильный дождь — тянуло влажность. Только к вечеру воздух в городе посвежел, сделался прозрачней, однако запах горелого леса был неистребим. Засуха превратила землю в пыль, и эта тончайшая кисея, гонимая слабым ветром, вместе с изгарью стлалась над Енисеем. С наступлением темноты за рекой все эти «палы», зажигаемые крестьянами и станичными казаками, походили на праздничную иллюминацию.

Как правило, в апреле и мае губерния страдает без дождей: брошенное в землю зерно замирает, лежит сухим в горячей пыли, а после, в июне и июле, нарождается на обгорелой земле кобылка — страшный бич посевов. А причина одна — бессмысленные «палы» лесов и кустарников, выжигание на полях сорной травы. Как отмечают умные люди, «палы» в эти месяцы делают атмосферу сухой, горючей, безжизненной, они не допускают собраться в воздухе влаге, отгоняя дожди. Подгородные крестьяне и станичные казаки на этот счет имеют свое суждение: «С незапамятных лет палим леса, но и доселе не выпалим!» Безумцы! Они полагают, что очищают места для хлебопашества. Но это только предлог. Горит чаще всего там, где никогда не будет полей, например, вершины гор и ребра ущелий, или же на таком расстоянии от жилья (на несколько дней пути), где заведомо уже не появятся хлебопашцы.

И вот в такой памятный день, называемый в народе «Фалалей-тепловей» или «Фалалей-огуречник», в день, когда завершается высадка в грунт рассады овощных культур, в том числе огурцов, Наталья Афанасьевна скончалась. В последние минуты, перед тем как удалиться в вечность, будучи еще в сознании, она пожалела, что не проследила, как идет высадка рассады. Ее успокоили, все, мол, в порядке, и она хотела перекреститься, но руку ко лбу не донесла. В воздухе стояла изгарь, даже в доме при закрытых окнах нечем было дышать, старуха задыхалась, — и вдруг дыхание пресеклось. Сделав усилие, она шагнула за порог между жизнью и смертью с облегчением, которого так долго вымаливала у Господа.

Для Лизы это было так страшно и так неожиданно просто, что она не выдержала,

зарыдала в голос, когда увидела, как бабушка испустила дух и голова ее скатилась с подушки. Глядя на нее, заревела и Катя, а Вася нахмурился и смотрел на них исподлобья, как бы осуждая. Он не понимал, что происходит вокруг; ему казалось, что бабушка просто заснула, а эти дуры почему-то взяли и разревелись. Одним словом, — девчонки! И отец с матерью отчего-то поникли, и у обоих на глазах блестят слезы. Вот бабушка маленько поспит и откроет глаза, тогда все успокоится, и он, Вася, подразнит сестриц по-уличному: «плакса-вакса...».

На похороны собралась вся родня: Торгошины, Суриковы, Черкасовы. Пришли два брата Натальи Афанасьевны — отставной урядник Александр и отставной фельдфебель Иван с женою Анфисой. Пришла Гликерия с мужем Антонином Вонгродским, секретарем Енисейского земского суда. Пришла Ольга Матвеевна Дурандина, в девичестве Торгошина, высокая сероглазая казачка, бездетная вдова, крестная мать маленького Васи. Были и тетки, и дядья, и чиновники, и соседи, и военные, и казаки, не было только младшего сына покойной — Марка Васильевича, командующего пятой казачьей сотней, который, как ни поверни, все равно не смог бы прибыть на похороны из своей забытой Богом Таштыпской станицы, прижавшейся к каменному хребту Кузнецкого Алатау.

Как положено, отпели покойницу в Покровской церкви на третий день после смерти и справили третины. После богатого приношения церкви душа умершей должна получить облегчение в скорби, каковая бывает от разлучения с телом, и вознестись на небеса для поклонения Богу.

За поминочным столом, который пришлось накрывать три раза, поскольку всех сразу не вмещал, велись тихие разговоры в память усопшей: какая это была славная казачка, Наталья Афанасьевна, да только вот счастья ей Господь поспешил дать полной мерой ни с мужем, ни с детьми. В пятьдесят два года осталась вдовой, потом потеряла и сына Ивана, сотника казачьего, а сколько было всяких других потерь — подсчитают на небесах. Вспомнили всю ее несладкую жизнь. Вели краткие поминальные речи, старухи вытирали платочками глаза, раскрасневшиеся мужчины после третьего стакана водки стали развязней и уже не могли говорить вполголоса. Когда становилось очень уж шумно, по чьей-то команде — и никто никогда не знает, по чьей, — одна партия поминальщиков сменяет другую. И так до тех пор, пока все желающие не выпьют по три стакана водки, не отведают кутьи, не съедят блин, не выпьют кружку ягодного киселя.

Отдельный стол накрывался во дворе — для бродяг и нищих. И любой прохожий мог войти и помянуть усопшую, помолиться перед вынесенным из дома образом Девы Марии.

Нищим, казалось, не будет конца; они приходили и уходили, приняв положенное, прихватив с собою закуску, иные предпочитали немного посидеть и поговорить; это были обычные подонки общества, сброшенные на дно суровой жизнью, — оборванные, грязные, завшивленные, полунагие, босые, убогие и калеки, молодые и старики, женщины и мужчины. Поминная закуска для них, конечно же, поплоче, однако водка, блины, кутья и кисель — с общего стола. И разговоры у них особенные — богобоязненные, благоговейные, умные; и если бы они не были одеты в рубища или если бы их послушать, закрыв глаза, то без сомнения можно было бы сказать, что сидят, беседуют грамотные, интеллигентные люди. И то верно, Сибирь полна нищенствующими разночинцами, бывшими дворянами, а ныне все они — либо варнак, либо «закаленный челдон», либо «челдон желтопупый», которые после переселения не сумели приспособиться к местным условиям жизни. А в основном это поселенцы, «белая котомочка», и часто не из простых смертных.

— Вот сейчас мы тут сидим, рабу Божию поминаем, а душа-то ее стоит перед Богом и поклоняется, — говорил оборванец с большой черной бородой, в которой отча-

янно жужжит, запутавшись, бестолковая муха.— И повелевает Он своим ангелам показать ей различные и приятные обители святых, красоту рая. И станет она рассматривать с удивлением все это шесть дней, прославляя Создателя. И забудет она скорбь свою по брэнному телу, с которым разлучили ее... Значит, через шесть дней опять угощение будет!

— Ну, угощение-то — не ахти, конечно,— сказал другой оборванец, помоложе, с реденькой бородой, похожий на татарина.— А могли бы и мясца подать, и пельмешек...

— Ишь ты какой, пельмешек ему подавай... Что взять с маленького чиновника? Вот если бы у богатого купчишки теща померла!..

— Купцы все жадные, зимой снега не выпросишь.

— Что верно, то верно! — Чернобородому надоело, видно, жужжание мухи, он ее осторожно выпутал из волос и отпустил, сказав: — Лети, Божья тварь! Да не попадайся мне!

— Эх,— вздохнул сосед чернобородого, лысый, босый мужик с офицерской выправкой,— мне бы ваши заботы! Муху пожалел. Она ведь — муха, ее и прихлопнуть не грех, а я человека убил. Че-ло-века! По молодости, по глупости. За что и каторгу отбыл. Вот иду теперь в Иркутск на поклонение мощам святого Иннокентия, кормлюсь тем, что кто подаст. А потом — домой, в Ростов. Хочу на праздник попасть.

— А что за праздник у вас там, в Ростове?

— Как? Вы не знаете, какой праздник? Извольте-с! В этом году будет праздноваться столетие обретения мощей святого Димитрия Ростовского, в миру Даниила Савича Туталю, сторонника реформ Петра Великого, исследователя раскольничьих толков. Торжество будет проходить в храме Иоакима и Анны, где почивают мощи святого Димитрия.

— Ох, и отъешься ты там, однако, дядя! — ввернул молодой оборванец.

— У голодной куме одно на уме...

И здесь вроде кто команду подал; побросав остатки пищи в свои холщевые котомки, нищие встали, помолились, а уж очередные, вытесняя их с доски, заменяющей скамью, занимали места. Дуняшка и три расторопные женщины, приданные ей в помощь, от усталости с ног валялись, но и этот стол накрыли мгновенно, после чего наглухо заперли ворота. Этакую поспешность в деле объяснили просто:

— Эвон сколь нищих — тыщи, всех не напоишь, не накормишь! Мало того, что задарма жрут, они еще и воруют! Шесть блюдечков, девять ложечек, четыре стакана, семь кружек недосчитались! Одним словом, поселенец — что младенец: что видит, то и тащит!

Так прошли третины. В России установлены церковью поминальные дни покойника: третий, шестой, девятый, двадцатый и сороковой. Отсчет ведется с точной даты смерти, записанной в синодик. И все эти дни положено отмечать. «Бог не попустил ничему быть в церкви своей неблагопотребному и бесполезному, но устроил в ней небесные и земные таинства и повелел совершать их»,— говорится в уставе православного богослужения. Но в Сибири отмечают лишь третины, девятины и сороковины.

На девятый день — к девятинам, когда в продолжение шести дней душа Натальи Афанасьевны созерцала радости праведных, а потом вознесли ее ангелы снова на поклонение Богу,— неожиданно приехал в Красноярск зауряд-хорунжий Марк Суриков. Все-таки вызвал его полковой атаман Александр Степанович личной депешей — не на похороны, а раньше, когда старуха еще была жива,— чтобы сын простился с матерью. Но то ли почта по дороге застряла, то ли еще какая задержка случилась, только Марк не успел даже на похороны.

На девятины сошлись только самые близкие покойной. Марк приехал как раз вовремя.

— Как только я получил депешу, так сразу и выехал, назначил за себя командо-

вать сотней старшего урядника Тита Чанчикова,— рассказывал он.— До Минусинска скакал, чуть лошадей не запалил, оставил их у князя Кострова. От Минусинска до Усть-Абаканска сам князь доставил меня в своем экипаже. Там пришлось ждать, пока сплотят плот люди купца Ананьина. Енисей-батюшка домчал меня до Красноярска, да вот... не успел я!

На кладбище он встал на колени перед могилой, перекрестился и заплакал.

— Прости меня, матушка родимая, что не смог проводить тебя в последний твой путь!..

Потом он долго кашлял, катаясь по земле. И когда наконец успокоился, встал, отряхнулся, вид его был жалок: лицо сухое, бледное, с синюшным оттенком, щеки ввалились, карие глаза болезненно блестели. «Как он постарел, несчастный мальчик!» — подумала Прасковья, разглядывая деверя. И вправду, за этот год Марк сильно изменился и в свои двадцать три года выглядел на все тридцать: в черных усах и на висках просверкивала на солнце ранняя седина, под глазами набухли серые мешки, на высоком лбу просеклись темные морщины.

— Ничего, брат, ничего, крепись,— неопределенно пробормотал Иван Васильевич, наливая в стаканы водку. Прасковья вынула из корзинки закуску: соленые огурцы, блины, кутью в чашечке и кисель в бутылке, несколько ломтей черного хлеба.

Братья выпили, пожелав покойной матери царства небесного, Прасковья лишь помочила губы. Остатки вылили на могильный холмик, на котором уже начала пробиваться трава. Прасковья достала блюдечко, положила в него ложку кутьи и три блина, поскольку Бог троицу любит, и пристроила его под крестом на разровненном ею пятачке земли. Иван Васильевич поставил рядом стакан с водкой, сверху накрыл куском хлеба,— это чтобы душа покойницы, которая все еще витает где-то рядом, видела, что ее помнят, и чтобы какой-нибудь бродяга выпил бы за помин этой души.

От спиртного Марк ожил, повеселел и стал рассказывать, как ему хорошо там, в Таштыпе, служится, и он бесконечно благодарен дядюшке Александру Степановичу, пославшему его туда. Рассказывая, он то и дело повторял: «у нас в Таштыпе», или «а у нас в Таштыпе»,— как если бы там родился, вырос и вот после долгой разлуки воротился назад.

— У нас в Таштыпе великолепная кедровая тайга,— мечтательно говорил Марк, отщипывая от блина маленькие кусочки и бросая их в рот.— Заготавливаем орехи, масло сбиваем — дело выгодное и для нашей сотни, и для полковой казны. Нынче пойдем на Саяны к пограничному знаку, и товар с собою берем на продажу иноземцам. Любят они наше масло. А в кедрачах в изобилии — белка, изюбр, косуля и другие звери, есть и боровая дичь. Можно и капитал нажить. Только не ленись.

— Ну, а со здоровьем-то у тебя как? — поинтересовался Иван Васильевич, обеспокоенный худобой брата, его тяжелым, изнуряющим кашлем.

— А что здоровье! Вот выпью — и вроде как полегчает. У нас в Таштыпе один только воздух чего стоит! Там почему-то мне легче дышится.

— Живешь-то как?

— Хорошо живу, весело. С казаками лажу, татары меня любят. Ни в чем не стеснен пока. Первое время скучно было, а сейчас привык. Так что, на жизнь я не жалуясь, брат!

— И татарочки, поди, там есть славные? — вставила Прасковья.

— Есть, конечно,— засмутился Марк.

— А станица-то большая?

— Как вам сказать? Таштып — это казачий форпост, а станицей он стал именоваться совсем недавно...

Для Ивана Васильевича это сообщение не было новостью: в Казенную палату пришла бумага из Иркутска, и он, коллежский регистратор, одним из первых с нею

ознакомился. Приказом генерал-губернатора Восточной Сибири, говорилось в той бумаге, бывшие казачьи форпосты станичных казаков Шадатский и Кибежский переименованы в казачьи станицы Каратузскую и Суегукскую. Документ подписан генерал-лейтенантом Н. Н. Муравьевым 23 марта 1852 года. А тремя днями позже другая бумага предписывала: бывшие казачьи форпосты станичных казаков Таштыпский и Саянский впредь именовать казачьими станицами Таштыпской и Саянской. Реформирование Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев начал с укрупнения и усиления казачьих полков «на случай могущих встретиться при занятии Амура надобностей». На Амур же были выведены губернские пехотные батальоны.

Еще в прошлом году, по получении в Сибири Положения об Иркутском и Енисейском казачьих конных полках, утвержденного 4 января, муравьевская реформа действовала уже вовсю. Для усиления, например, Енисейского казачьего полка были опрошены крестьяне «заранее намеченных местностей, не пожелают ли они перечислиться из государственных крестьян в казаки». После некоторого колебания деревни Дрокина, Торгошина, Базаиха, Мининская, Бугачевская, Солонцы, Еловка, расположенные в Красноярском округе, изъявили свое согласие и были перечислены в военное ведомство — в Енисейское казачье войско, управление которым сосредоточено было в городе Красноярске. Здесь же располагалась и первая сотня полка. В казаки была также обращена и часть городских мещан. Красноярская станица имела в своем составе 160 дворов с населением 379 душ мужского и 270 душ женского пола...

— За четыре года управления Восточной Сибирью генерал-губернатор Муравьев сделал немало, — сказал Марк.

— Да, размахнулся наш генерал-губернатор! — прибавил Иван Васильевич. — Умная голова! Это же надо — тихо, мирно — и мещан в казаки! А крестьянам, понятное дело, было не по вкусу, но ведь согласились же! Гениальная голова!

И дома за столом во время поминовения, выпив водки, Марк опять плакал и говорил, что без матушки он вовсе теперь сирота, и что сам он долго, наверное, не протянет: один татарский шаман посмотрел на него и сказал, что жить ему осталось четыре года.

— Вздор! Все вздор! — вспыхнул Иван Васильевич. — Ни один шаман и никакая гадалка не могут знать, сколько лет жизни нам Богом отпущено! И думать об этом, дурак, не смей, понял?

— Прости, брат! — Марк вытер слезы, улыбнулся, пряча глаза. В Красноярске Марк пробыл три дня. И все эти дни дети не отходили от него ни на шаг, прося дядю то почитать книжку, то покачать на ноге, то покатать на жеребце Карке.

Только Лиза оставалась грустна и смотрела на их ребяческие шалости со стороны печальными глазами. Потеряв бабушку, видно, и она, как дядя Марк, еще сильнее почувствовала себя одинокой.

Катя и Вася своими играми, капризами, шалостями, на которые была так богата их детская фантазия, немного отвлекли Марка от грустных мыслей, и он по-прежнему шутил, даже бывал остроумен. Однако Прасковья, отвыкшая от его грубоватых острот, чаще всего обижалась и как-то даже оскорбилась, когда деверь назвал ее потомком Чингисхана.

— Да чё ж ты, батюшко Марко Василич, выдумывашь-то? — сердито выговорила она ему свое несогласие. — Пошто ж это мы от нехристей-то, всяких там немых туземцев произошли? Такого не может быть!

— Я и не говорю — от нехристей, а все же... непременно чужая кровь примешалась. Вот матушка сказывала...

— Не надо покойницу поминать всеу, душа ее еще над нами летат, все слышит.

Марк умолк, замкнулся в себе и больше не заговаривал на эту тему.

Перед отъездом в свою сотню он еще раз побывал на кладбище, попрощался с

дорогой могилкой матери, потом сходил в полковую канцелярию: отметил командировочное предписание, получил новенькое офицерское обмундирование, выложив за него кругленькую сумму.

Новая форма казачьей одежды, утвержденная Положением 1851 года, очень Марку понравилась, особенно чекмень с чешуйчатыми эполетами на плечах, пристегнутыми белой металлической пуговицей. Эти парадные эполеты с вензелем «Е.П.», красным просветом на серебряном поле и двумя звездочками сразу же казаки в шутку прозвали «ватрушками», они и впрямь походили на домашнюю сдобную булку.

Шитый из темно-зеленого сукна чекмень, с красным воротником и темно-зелеными обшлагами, застегивающийся изнутри металлическими крючками, плотно облегал стройную фигуру молодого офицера и даже по длине оказался впору — недоставал до колен ровно пять вершков, как и указано в Положении... Чекмень был снабжен двумя патронниками на груди, слева и справа, по типу кавказских газырей; черные, бархатные, с внутренними карманами, они обложены были вокруг широкой серебряной тесьмой; втулки газырей выточены из карельской березы, с высеребреными головками, на восемь патронов каждая. Вместо обычного казацкого ремня из черной кожи тонкую талию Марка обхватывал пояс из серебряной тесьмы, подшитый черным сафьяном, с серебряными же — двойной и малой — пряжками, наконечником и гайкой, а через плечо перекинута портупея, и тоже из серебряной тесьмы, без просвета, и также подбитая черным сафьяном.

Серого сукна шаровары, с кожаными стременами и красной выпушкой, заправлялись в блестящие хромовые сапоги с железными шпорами; сапоги хрустко поскрипывали, шпоры сочно позвякивали, издавая тонкий звон, и было видно, что Марку это нравилось. Обязательным приложением к сапогам выдавались и полусапожки, носимые с шароварами навывпуск.

К форме полагались черный шелковый галстук, белые замшевые перчатки, обыкновенный кавалерийский темляк, чушка для вкладывания пистолета, сшитая из черного сафьяна, с двумя ушками, со строчкой по краям, и сам пистолет — огнестрельное оружие, употребляемое в кавалерии; чушка с пистолетом крепится слева на поясе, там же, где и казачья шашка.

Оглядев себя в зеркало, хорошо ли подогнаны чекмень и шаровары, Марк похвалил Прасковью и Лизу, что постарались на славу, и стал примерять шинель.

Офицерского покроя шинель, серого сукна, с таковым же серым воротником и красными на нем клапанами, застегивалась на белые гладкие металлические пуговицы, ярко блестящие на солнце. Марк подвигал плечами, сделал руками движения, будто машет шашкой, — нет, не стесняет, не сковывает шинель, — и остался доволен. Надев шапку и чуть сдвинув ее к правой брови, он придирчиво всмотрелся в зеркало, в собственное отображение. Шапка тоже была особенная: из красного сукна, верх круглый, стеганный на вате, обложен вокруг широкой серебряной тесьмой и переложен четырьмя полосами узкой — серебряной же — тесьмы. Околыш казацкой шапки — из черной мерлушки, подбородник — из черного кожаного ремня.

Сняв шинель и шапку, Марк примерил фуражку. Сшитая из темно-зеленого сукна, с красным околышем и красной выпушкой поверху, с черным блестящим козырьком, она сидела на голове плотно и немного сдавливала надбровные дуги, — ну да ничего, обносится.

Похрустывая сапогами, Марк прошелся по комнате, испытывая некоторую неловкость от еще необмятого обмундирования, и, придерживая шашку, сделал несколько строевых приемов — четко, по-уставному, повернулся через левое плечо, пристукнул каблуками, отозвавшимися мелодичным звоном шпор, и, печатая шаг, направился к выходу.

— Чисто генерал! — похвалила Прасковья.

— Это вам не голубые мундиры жандармов! Не полиция со стоячим красным воротником! Казачья форма — лучшая из всех! Это вам не солдат — кислая амуниция! — прихвастнул Марк, а про себя тоскливо подумал: вот посмотрела бы на него сейчас родимая матушка!..

Уезжая, он попрощался с каждым домочадцем в отдельности: обнял брата, поцеловал в щечку его жену, поцеловал протянутую руку Лизе, отчего она смутилась и покраснела, взял на руки Катю и пощекотал ее усами. Васю он отыскал наверху, в комнате постояльцев: тот сидел на полу и что-то рисовал на клочке серой бумаги. Марк опустился рядом на корточки и в неумелом детском рисунке сразу узнал то, что отдаленно напоминало скачущего коня, а на нем казака с пикой в одной руке и саблей в другой. И этот рисунок, и это поведение мальчика, уединившегося в своем творческом порыве, растрогали Марка до слез. Он сгреб Васю в охапку и, задыхаясь от волнения, от болезненной стесненности в груди, от любви к этому теплому родному существу, дрожащим голосом произнес:

— Рисуй, рисуй, милый ты мой казачок! В другой раз я тебе карандаши и бумагу привезу.

— Дядя, это я тебе нарисовал. На память,— сказал мальчик, польщенный похвалой. Он уже говорил чисто, не присусыкивал, как, бывало, посмеивалась над ним Лиза, поддразнивая: «зелебенек с колокольчиком!» Но вот оканье, на которое раньше никто не обращал внимания, осталось как отголосок далекого-далекого родства с первыми завоевателями Сибири.— А ты когда приедешь, дядя? — спросил он, обнимая Марка.

— Не знаю, Вася, но я напишу тебе письмо...

— Я еще читать не умею.

— Научишься. Лиза тебя научит, она грамотная.

— А когда бабушка вернется?

Марк опешил.

— Она не вернется, Вася, она умерла.

— Совсем-совсем?

— Совсем-совсем. Тело ее закопали в землю, а душа осталась; она с Богом сейчас разговаривает. Вот они поговорят, и Бог решит, куда бабушкину душу отправить — в ад или в рай.

— Рай — это на небе, я знаю, туда все хотят, там сады, реки и всегда лето! Там все святые собрались и живут припеваючи...

— В сороковой день Божий судия и определит ей место в раю. Там хорошо ей будет, Вася!..

Сороковины отметили еще более тесным семейным кругом. Сходили на кладбище, возложили на могилку цветы, посидели, помолились и воротились домой, к уже накрытому столу. На этот раз Прасковья брала с собою и Катю с Васей, и они, как обещали матери, взбираясь на высокую Троицкую гору, не хныкали, не канючили и не просились на руки, если уставали. Обратный путь был не менее труден, потому что следовало постоянно сдерживать ноги, чтобы не разбежались под уклон. От такой ходьбы малыши пожаловались на истомную боль в коленках. Прасковья пожалела Васю и решилась было подхватить его на руки, но Иван Васильевич строго на нее прикрикнул:

— Это еще что такое? Пусть идет, не маленький уже! Казак должен все терпеть, а он — казак! Хватит, наездился на материную шею!

Прасковья взяла детей за руки и, чтобы отвлечь их, чтобы не стали они хныкать, рассказала, как она с Лизой ранним утром была в церкви; они выстояли на ногах всю литургию и не устали, поставили по свечечке на помин души усопшей бабушки, сладко помолились, ибо сегодня — в сороковой день после смерти — бабушкина душа опять вознеслась на поклонение Богу.

— А где она была раньше? — спросила Катя.

— В раю, вот где! — сказал Вася и прибавил.— Мне дядя Марко сказывал, что Боженька бабушкину душу в рай отправит.

Прасковья рассмеялась и поправила сына:

— Не так, Васенька, все это!.. Лишь сегодня Судия определит приличное по ее делам место пребывания. Должно быть, к вечеру только. А перед тем, как вознестись к Богу, душа тридцать дней по велению владыки блуждала по аду, смотрела, как души грешников мучаются, рыдают и скрежещут зубами, и сама трепетала от страха быть осужденной так же вот мучиться.

— Боженька может сделать так, чтоб душа не мучилась?

— А для этого надо вести жизнь праведную и каждый день молиться, сынок. Ты знаешь, что такое молитва?

— Это Божья песня, которую читают и поют, чтобы попасть в рай... А бабушка, я видел, всегда молилась и жила праведно.

— Ответ довольно остроумен,— с улыбкой заметил Иван Васильевич и потом всем рассказывал, как его сын понимает учение церкви.

И в этот последний день июня стелилась над городом плотная кисея, сотканная из дыма и изгари пылающих за Енисеем лесов. С Троицкой горы хорошо просматривались далекие заречные просторы, одни лишь макушки синих гор, с которых стекают сизоватые ручейки дымов, а каменный перст скалы Такмак или, как его называют подгородные крестьяне, Базайский Камень, еле виден даже отсюда. Спустившись ниже, к мосту через Качу, нельзя было уже ничего увидеть: дым покрыл весь горизонт, светит багровое солнце, в воздухе густая мгла. Дышать стало труднее. Все вокруг точно замерло. Жители города позакрывались в домах, даже окна захлопнули в этакую жару. Все с нетерпением и надеждой ждут, когда подует с Долгой гривы ветер и разгонит мглу или пойдет спасительный дождь. Но ни дождя, ни ветра вот уже несколько дней подряд — словно кара Всевышнего за неизвестно какие грехи красноярцев.

— Прямо наказанье Господне! — вырвалось у Прасковьи, и Вася тут же подхватил:

— А я знаю про наказанье Господне, мне бабушка говорила. Она говорила, что Бог — это очень старенький добрый дедушка, он еще и лысый, как на иконе, и бывает строгий-строгий! Если я не буду носить крестик на шее, то в первую же грозу он меня покарает, как покарал тетю Фросю из Дрокинской деревни — ее громом убило. А тетя Дуня сказала — это наказанье Господне за то, что тетя Фрося много грешила и потеряла свой крестик...

— Ну, ты у нас не иначе философом станешь! — насмешливо сказал отец.— Рассуждаешь, как батюшка с амвона!

— Никакого худа я в том не вижу, если Васенька священником станет, как вырастет,— вставила мать.

К поминальному столу подоспели и гости: полковой атаман Александр Степанович и его адъютант зауряд-сотник Василий Матвеевич Суриков в темно-зеленом мундире с аксельбантами. На обоих вместо эполет были погоны, причем у Александра Степановича, имеющего штаб-офицерский чин, приравненный к чину майора с 1754 года, на погонах было по два красных просвета и по три звездочки. По новому Положению, он теперь носил казачье звание войскового старшины, а недавно получил орден святой Анны за многолетнюю и непорочную службу и впервые пристегнул его к своему мундиру.

— Теперь вот нужно внести в Капитул пятьдесят рублей — весьма чувствительный расход,— беззлобно ворчал он, пока хозяева дома и их дети рассматривали орден.— И за повышение в чине тоже, поди, платить надобно: Казенная палата строго следит за этим. Ты, Ваня, там служишь — знаешь: за все надо платить! Сам, поди,

половину жалованья отдал, когда тебя в чин коллежского регистратора произвели, верно? — Иван Васильевич кивнул.— А когда я получил звание сотника, что равносильно чину четырнадцатого класса, то есть коллежского регистратора, а это было в одна тысяча восемьсот двадцать пятом году, то с моего жалованья удержали сорок шесть рублей и одиннадцать копеек. Через четыре года я стал полковым атаманом — стало быть, чиновником десятого класса — коллежским секретарем,— то удержали уже пятьдесят шесть рублей и тридцать восемь с половиной копеек. Для чиновника среднего достатка по тем временам сумма внушительная. А ныне Капитул вздул цены в три раза. Непостижимо! Но ничего, ничего, скоро со всем этим будет покончено.

— Что вы имеете в виду, дядюшка? — спросил Иван Васильевич, наливая в стаканы водку — ему, Василию Матвеевичу, себе.— Не помирать ли собрались?..

— Помирать не помирать, а с этим делом еще подождем, хотя здоровье мое совсем никудышное: плохо ноги ходят, и зрение ослабло — ни читать, ни писать не могу. Все бумаги за меня адъютант пишет, а я лишь расписываюсь.

— Ну и что? Василию, наверное, это не в тягость! На то он и адъютант командующего полком! Верно, господин сотник?

Прирученный не лезть «поперед батьки в пекло», Василий Матвеевич скромно промолчал, но головой кивнул.

В отличие от дядюшки, про которого покойница Наталья Афанасьевна в шутку, бывало, говаривала: «черен, как голенище»,— Василий Матвеевич был посветлей лицом, но такой же смуглый до синевы, с черными, как вороново крыло, усами. Лицо Александра Степановича, быть может, стало черней оттого, что голова его и усы были белыми. Поседел он как-то сразу, в последние несколько месяцев, и через какие переживания — никто не знает. А может, просто от старости! К примеру, Наталья Афанасьевна сесть начала с того случая, когда ей пригрезился блаженный старец Феодор Кузьмич, а за какие-нибудь три месяца до смерти и вовсе побелела. Значит, и Александр Степанович знает, когда ему помереть?..

Иван Васильевич заглянул в темные, некогда блестящие, а ныне выцветшие, как истлевший бархат, глаза дядюшки и тоскливо подумал: «Наверно, и впрямь знает...»

Александр Степанович поднял свой стакан и глуховатым, тоже как бы истлевающим, голосом произнес:

— Что ж, помянем старую казачку, рабу Божию Наталью, царство ей небесное! — И выпил залпом.

Особым богатством закусок стол на сей раз не славился. И на то были свои причины. Дуняшку хозяйка отпустила в деревню, у них там вовсю идет сенокос, а сама почти ничего не успела сделать. Правда, вместе с Лизой они сварили кутью, кисель, напекли блинов,— то, что и полагается для поминовения. А под водку, как говорится, «хороша закуска — капуста: на столе много, и съедят — не жалко!» Помимо квашеной капусты, приправленной мелко порезанным лучком и растительным маслом, были тут и соленые огурчики, и ядреные сочные грузочки, и клюква моченая, и даже пропастинка — туземным способом вяленое оленьё мясо, считавшееся деликатесом в богатых домах Красноярска, Енисейска и Канска. Кусок пропастинки — фунтов примерно в пять-шесть — привез из Туруханска сам Иван Васильевич, бывши там вместе с губернатором Падалкой во время объезда края в прошлое лето. Мясо ели помалу, и то по праздникам, осталось и для такого случая...

Закусивши хрустким грузочком, Александр Степанович подцепил вилкой ломтик пропастинки, долго жевал, наконец проглотил и сказал с сожалением:

— Вкусно мясо, да не по зубам старику!

— Жестковато — олень, поди, старый попался,— высказала предположение Праксovia.— Вот и покойница-матушка, живая еще была, так сказала: «Жестко мясо, не

по зубам!..» Так и померла, не попробовавши. А ведь Иван Васильич для нее расстался! Как память, говорил, о ее прошлой жизни в Туруханске.

— Нет, мясо как мясо, и вкусно, — возразил Василий Матвеевич, кладя в рот очередной ломтик пропастинки, пряно пахнущий дымком, солнцем и северными травами.

Выпили по второму и по третьему стакану, причем каждый раз Прасковья лишь мочила губы; она и на собственной-то свадьбе не пила, а так же вот мочила губы в шампанском. Лизе, почти что уже невесте, тоже наливали. Но и она не пила, говорила: «Вино — дьяволово зелье, яд!», но стакан к губам подносила и, не помочив губ, ставила на стол.

Мужчины повеселели, разговорились, и Александр Степанович, вытирая вспотевший лоб, шею, слезящиеся глаза, повел речь о том, что и его жизнь кончается, что служить он больше не может по причине предельного возраста, установленного государем императором в войсках, после которого офицер перестает быть полезным, и его удаляют в отставку.

— Предельный возраст у нас в России таков: для капитанов и есаулов — пятьдесят пять лет, для подполковников и войсковых старшин — шестьдесят. До предельного возраста мне остается два года, но я уже сегодня смертельно устал и не могу должным образом относить походную службу. Я подал прошение на имя генерал-губернатора и командующего войсками генерал-лейтенанта Муравьева. Думаю, Николай Николаевич войдет в мое положение.

— А кто же заменит вас, дядюшка?

— Свято место пусто не бывает, кого-нибудь пришлют.

— Прислать-то пришлют, но кого? Попадется какой-нибудь сатрап — жестокий, злой человек, и начнет он бедных казаков палками потчевать, забивать насмерть. Как подумаю — мороз по коже!

— А тебе-то, статскому, чего бояться, Иван? — пожал плечами Василий Матвеевич, при этом изобразив на лице удивление.

Иван Васильевич скользнул взглядом по его гладкому, до синевы бритому лицу, по его безукоризненно отутюженному мундиру с витыми серебряными аксельбантами и, не скрывая раздражения, воскликнул:

— Как это — чего? У меня два казака растут! Да еще, может быть, сыновья будут, и я не хотел бы видеть их битыми! С нашим-то суриковским характером, сам знаешь, брат, палок не избежать, гауптвахты не миновать.

— Ох, Господи, — вздохнула Прасковья. И зашептала, крестясь: — Преславная Приснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши...

— Уж на гауптвахте-то мы и при дядюшке насиделись довольно, — рассмеялся Василий Матвеевич, — пока в офицеры не вышли. А сейчас вроде как неудобно держать нас в кутузке вместе с рядовыми казаками, так дядюшка придумал назначать провинившихся караульными начальниками на гауптвахту, и причем на свой счет.

— Это не я придумал, — возразил Александр Степанович, — я только злоупотреблял, чтобы не доводить до суда чести, старался избежать лишнего шума.

— И сам, бывало, получал выговора...

— Ну, хватит об этом! День-то какой — сороковины, а мы про службу языки чешем. Нехорошо, господа!

Василий Матвеевич опять изобразил на лице удивление:

— Прости нас, Господи, за греховные речи наши! — И плеснул из графинчика понемногу водки мужчинам. — Помянем рабу Божию Наталью, царство ей небесное!

Хмель действовал на полкового адъютанта настолько возбуждающе, что это заметил его непосредственный начальник. Он что-то шепнул зауряд-сотнику на ухо, тот покивал головой и, как ни в чем не бывало, заговорил о детях Ивана Ва-

сильевича, мол, что-то не видно их и не слышно — не к тетке ли, Ольге Дурандиной, их отправили?

— Играют, поди, во дворе, где ж им быть-то? — ответила Прасковья и велела Лизе глянуть в окно.

Лиза подошла к одному окну, к другому, к третьему и, задержавшись, облокотившись на подоконник, стояла и смотрела, как резвятся дети. Им не было никакого дела до смерти бабушки и до традиционных сороковин.

Сухая мгла мало-помалу истаивала. Высоко-высоко стояло горячее солнце, без лучей, в сером дрожащем мареве, и, казалось, вот-вот погаснет.

Через месяц после похорон старой казачки Натальи Афанасьевны, вдали от России, а от Сибири еще дальше, — в местечке Манциано, в 30 милях от Рима, — скоропостижно скончался русский художник, автор «Последнего дня Помпеи» Карл Брюллов. Он страдал болезнью сердца. Поехал пользоваться тамошними минеральными водами и, как писали газеты, умер, «задушенный хлынувшей ему из сердца в горло кровью». Это был человек маленького роста — «Маленький творец», но в среде русских живописцев его называли Карлом Великим. Работал он весело, беззаботно, был строг к себе и нетерпелив. С утра 23 июня был на ногах, обедал, «как вдруг — припадок удушья, и часа через три испустил дух, в совершенной памяти...»

Эту скорбную весть газеты разнесли по всему миру. Красноярские обыватели узнали о ней на день-два раньше, чем получили газеты, вечно опаздывающие, — из переписки Петра Ивановича Кузнецова с одним из своих заграничных агентов по торговым делам.

А потом в Красноярске были получены и газеты. О кончине Брюллова говорилось в конце «Сообщения из-за границы», и совсем немного, зато целые страницы заполняли статьи, спокойно и обстоятельно рассуждающие о революционных событиях в Европе.



**Александр Матвейчев**  
(г. Красноярск)



## **МОЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ**

*Александр Васильевич Матвейчев родился 9 января 1933 года в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. С 1959 года живет в Красноярске. Окончил суворовское (1944—1951) и пехотное училища (1951—1953). Лейтенантом командовал пулеметным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации из армии в декабре 1955 года шесть лет учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956-1962). Диплом инженера-электромеханика.*

*В студенческие годы работал токарем-револьверщиком, разнорабочим, электриком, инженером-конструктором.*

*Пройдя все ступени инженерных должностей, карьеру завершил первым замом генерального директора — главным инженером НПО и директором предприятия. Депутат райсовета трех созывов. Баллотировался в Красноярский краевой совет.*

*В 70-х годах XX века более двух лет проектировал электроснабжение и автоматизацию цехов никелевого комбината на Кубе; этот период жизни стал основой его крупного романа «El Infierno Rojo — Красный ад».*

*С 1993 года работал: журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков с иностранными специалистами, помощником депутата Госдумы, а затем — Законодательного собрания Красноярского края. В 90-х годах избирался сопредседателем и председателем демократических общественных организаций: Красноярского народного фронта, Демократической России, Союза возрождения Сибири и Союза объединения Сибири. Входил в состав политсовета и исполкома Красноярского отделения партии «Демократический выбор России».*

*В настоящее время является президентом Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и Почетным председателем «Кадетского собрания Красноярья».*

*Первые рассказы опубликовал в районной газете г. Вятские Поляны в 1959 году. Издал книги: «Сердце суворовца-кадета» (стихи, проза), «Вода из Большого ключа» (сборник рассказов), «ФЗА-ЕЗА. Прошлое. Настоящее. Будущее» (публицистика), «El Infierno Rojo — Красный ад» (роман), «Нет прекрасней любимой моей» (поэзия), «Кадетский крест — награда и судьба» (стихи, проза), «Признания в любви» (поэзия), «Благозвучие» (поэзия, проза), «Привет, любовь моя!..», «Три войны солдата и маршала» (проза), «Война всегда с нами» (проза). Его стихи, повести и рассказы постоянно публикуются в альманахах и антологиях, издаваемых в Красноярске.*

*Член Союза российских писателей. Первый заместитель Правления Красноярской региональной общественной организации «Писатели Сибири».*

*Война есть убийство.*

Лев Толстой

*Год 1941-ый*

*Враг топчет мирные луга,  
Он сеет смерть над нашим краем...*

Федор Кравченко

Солнечным июньским полднем по высокой пустынной дамбе, мощенной щербатыми булыжниками, купая босые ноги в горячей пыли обочины, возвращаюсь, поддергивая короткие штанишки, с утреннего детского сеанса в единственном городском кинотеатре. Нахожусь под впечатлением от фильма «Маузеристы». Вот бы так же расправляться с врагами, как наши, одетые в кожанки бойцы. Стрелять в беляков сразу из двух маузеров!.. Мне восемь с половиной лет, позади первый класс, впереди — первые в жизни летние каникулы. Купайся на вятском пляже, загорай, рыбачь, читай книжки. Играй в войну красных с белыми. В бабки, лапту, лото или домино.

Бреду домой в Заошму — пропахший бардой и опилками рабочий поселок со спиртовым и кирпичным заводами и лесопилкой в районном городишке Мамадыш. Где, как говорит старшая сестра, в сороковом году жителей в нем стало больше восьми тысяч. Если так дело пойдет, думаю я, то скоро и Москву догоним!..

С обеих сторон дамбы — разлившаяся в половодье речка Ошма, приток Вятки. После половодья она превращается в мелководную, с вязкими илистыми берегами, местами поросшими камышом, тальником и ольшаником речку. А сейчас Ошма слилась с Вяткой, превратилась в полноводную красавицу. По ее ослепительной глади снуют катера и смоленые остроносые лодки с рыбаками и хозяйственными мужиками, запасующими бревна. Сосна плывет с верховьев, как будто никому не нужная, из кировских леспромхозов. Самое благодатное время запасать, вопреки запретам властей, лесины на дрова и постройки.

Из громкоговорителя, прибитого на столбе, или с какого-то катера разносится в голубом пространстве музыка, как будто вещает само небо.

Музыка смолкает, диктор трижды, с интервалами, повторяет: «Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение!» Репродуктор замолкает, задумчиво хрустит, словно грызет ржаной сухарь. И вдруг из него, как всплеск молнии и удар грома, бесстрастным голосом председателя Совета народных комиссаров Молотова в меня навсегда вонзается страшной реальностью слово: ВОЙНА!..

Было ли это на самом деле, а сейчас мне только кажется, что в тот миг солнце померкло, лодки и катера на водной глади замерли, как в стоп-кадре, и только люди метались на них и что-то кричали. В мир природы и в души людей вошло нечто, что грозило невозвратимыми потерями и жуткими последствиями. Это я почувствовал на себе, словно постарев на много лет.

И, конечно, подумал о старшем брате Кирилле: осенью сорокового его забрали в армию, и он писал, что учится в Петрозаводске, в школе младших командиров. Значит, мы его не скоро увидим. И увидим ли?.. Недаром мама, слушая радио об оккупации немцами стран Европы, повторяет: «Ой, только бы не война!..» В Гражданскую погиб ее младший брат Борис. А в двадцать девятом и старшего брата Николая Ивановича — сельского учителя и видного чекиста — упрятали в психушку в Сарапуле, и когда и как он умер, никто толком не знает. Ни жена и ни трое их сыновей.

С новостью о войне я забегая к приятелю по школе, Гришке Хайруллину, и мы, валяясь на лужайке в тени бревенчатого дома наших соседей, обсуждаем, как сбежим

на фронт. А там, подпустив немцев поближе, будем косить немцев из пулемета «максим», как чапаевская Анка.

\* \* \*

Однако родители опередили нас с уходом на позиции. Гришкиного отца как резервиста отправили на фронт от двух сыновей и больной чахоткой жены. А мою маму «подставила» дочь Наталья. У мамы на попечительстве было двое детей — я, восьмилетний, и десятилетняя племянница-сирота Веруська — и ее бы рыть окопы не погнали. А Наташа, патриотка, большевичка, секретарь райкома комсомола, взяла на себя заботу о детях. И мама-сердечница полгода — в холоде, голоде, в борьбе со вшами — копала мерзлую землю на правом берегу Волги. Вместе с тысячами других, собранных из разных республик и областей людей — русских, татар, чувашей, удмуртов, башкир, — в основном женщин и негодных для армии мужиков, — сооружать траншеи, дзоты, опорные огневые и командные пункты на случай падения Москвы и выхода немецких орд к Казани. Много народа полегло там не от пуль, бомб и снарядов, а от мороза, недоедания, тифа и дизентерии. Сотни километров глубоко эшелонированных оборонительных позиций нашей армии не понадобились: немец, после поражения под Москвой, в августе сорок второго ударил, на свою погибель, далеко южнее Казани — по Сталинграду.

Гришкин отец вскоре погиб, мать умерла от туберкулеза. Гришку приютил мамадышский детдом, а его трехлетнего братишку взяла к себе бездетная сестра убитого отца, жившая в Заошме рядом со спиртзаводом.

Наталье, сестре, некогда было прилежно заботиться обо мне и сироте — десятилетней Веруське. Она родилась от неизвестного отца маминой сестры, Лукерьи, умершей перед войной от туберкулеза, полученного от свинцовой типографской пыли. А наша опекунша Наталья пропадала в райкоме комсомола сутками, мобилизуя и направляя молодежь на боевые и трудовые подвиги.

За нами приглядывала бездетная хозяйка дома, почтальонша тетя Надя. С утра она уходила разносить письма и похоронки, поручая нам выполнение многочисленных домашних заданий. Мы с десятилетней Верой пилили и кололи дрова, топили печку, варили картошку и кашу, стирали и мыли пол, кормили моего пса Джека. И вместе спали на просторной русской печке, слушали радиосообщения Совинформбюро о положении на фронтах. Перед сном рассказывали друг другу страшные сказки или строили коварные планы борьбы с оккупантами, если они захватят Мамадыш. Городская электростанция, если были исправны локомобили с генераторами, начинала работать с наступлением темноты и останавливалась в полночь. Частенько уроки приходилось делать при свете настольной керосиновой лампы или свечки.

Страшнее зимы с сорок первого на сорок второй год я не помню. Морозы за тридцать градусов с ноября стояли сухие, смертельные. Одежка, исключая валенки, лишь символически зимняя, школа далеко. Пока добежишь — душа и тело превращаются в ледяную сосульку. А приходилось вставать в пять утра и до школы сбегать, в сопровождении верного лохматого Джека, в очередь за хлебом в центр Мамадыша. Сначала ждать открытия булочной не меньше часа в длинной очереди на улице, а потом, рискуя быть задавленным немилосердными взрослыми, когда магазин открывался, — каждый стремился прорваться к прилавку первым. Взрослых одолевал страх опоздать на работу: за пять минут опоздания можно было угодить в Гулаг на неопределенный срок.

А черный пес терпеливо дожидался меня и хлебного довеска на улице.

От разговоров взрослых в очереди брала тоска: отстоят ли наши Москву; что будет, если немец дойдет до нашего города. Недаром же власть приказала с вечера не зажигать фонари на столбах и плотно занавешивать окна домов. С наступлением

темноты было страшно выбегать в надворную уборную, поэтому ходили в ведра. К Казани якобы уже прорывались немецкие самолеты и сбрасывали бомбы. А от столицы Татарии до Мамадыша всего полторы сотни километров — двадцать минут лета. И на весь наш городок не было ни одного бомбоубежища. Говорили, что вот-вот заставят рыть укрытия во всех дворах или в огородах.

А в школе ко мне придиралась пожилая учительница, Екатерина Иосифовна. Однажды за разговоры во время урока приказала выйти из класса, я не подчинился. Она подскочила ко мне и стала выдергивать за шиворот из-за парты, как злая бабка репку, силой и едва не задушила меня воротником. Я вцепился за край пюпитра, закашлялся от удушья. И тогда она сдернула с моих ног валенки, вытолкнула ударом колена под зад в коридор. Засеменила в учительскую и позвонила в райком комсомола моей сестре, с полгода назад состоявшей директрисой этой школы.

Наташа приехала довольно скоро на райкомовской кошевке и, увидев меня в коридоре без валенок, спросила, куда я их девал. «Сдал в фонд обороны», — нашелся я с ответом.

Эта фраза сразу превратилась в домашний анекдот на всю оставшуюся жизнь. Сбор теплых вещей для фронтовиков в фонд обороны был патриотическим почином. На фронт отсылались посылки с вязаными носками и варежками, валенки, портянки, махоркой. Отдельно собирались деньги, драгоценности на производство вооружения — танков, самолетов, пушек.

Все для фронта! Все для победы! Смерть немецким оккупантам! За Родину! За Сталина! Победа будет за нами!..

Сестре валенки вернули, она меня с комфортом, на кошевке, укутав в казенный овчинный тулуп, доставила домой. А вечером попыталась продолжить воспитание невесомым клеенчатым ремешком. Однако я разрушил ее коварный план: нырнул под стол, брыкался, и она не могла меня оттуда вытащить. И кричал, что убегу на фронт и все расскажу брату Кириллу. Мы уже получили от него пару треугольных коротких писем с передовой, написанных каллиграфическим почерком, понятным даже мне, второкласнику.

Навсегда врезалась в память фраза из одного из этих дорогих посланий с бойни: «Ломаю рога фашистскому зверю...»

В начале зимы, по первому снегу, приполз к калитке дома, громко скуля и истекшая кровью, мой Джек. Я и Веруська со слезами затащили его во двор и потом в пустой хлев, уложили на солому, и я укрыл его своим пальтишком. Какой-то негодяй выстрелил в пса дробью, ранил в шею и выбил правый глаз. Мы его выносили, но я остался без пальто и вынужден был ходить в школу в старой, мне до пят, шубейке моей сестры, пока портной порол и шил мне обнову из пиджака мужа тети Нади, воевавшего на неизвестном фронте. В кладовке хранилось много его столярного и плотничьего инструмента. Он и этот дом сам поставил из лесоматериала с соседней лесопилки, где работал бригадиром, но брони не имел и сразу попал на фронт. От него не было никаких вестей, и тетя Надя, радуясь, что осталась бездетной, гадала, погиб он или угодил в плен.

А вскоре я пережил потерю моего Джека. Незадолго до его пропажи он преподнес нам с Веруськой сюрприз. Мы пилили дрова на козлах во дворе двуручной пилой, а он прокрался в сени, из них — в открытую кладовку и выскочил во двор, унося в зубах драгоценный кусок мерзлой свинины, завернутой в мешковину. Я бросился к нему с поленом в руке, но он перемахнул штакетник и по глубокому снегу умчался в дальний край огорода. Где запасливый кобель закопал добычу — обнаружить нам не удалось. А потом исчез и сам, и я каждое утро оплакивал без вести пропавшего друга, отправляясь в очередь за хлебом по заснеженным темным улицам один, без охраны, без его заливистого обмена лаем со знакомыми собаками Заошмы.

*Год 1942-ой*

*Нет слов таких, чтоб выразить сполна,  
Что значит мать и что для нас она.*

Шандор Петефи

Наступление Нового, сорок второго, года отмечалось школьным концертом. Я и эвакуированная из осажденного немцами Питера красивая девочка Ира, моя одноклассница, выступили с оглушительным успехом в одноактной пьеске «Петрушка и свиначка». В финале я в бумажном колпаке и с буратиным, на ниточке, завязанной на затылке, носом и Ирочка, наряженная под Мальвину, взявшись за руки, сплясали и спели под баян ныне забытый шлягер: «Вот танцует парочка — Петрушка и свиначка...»

За прекрасный дебют мне и Ирочке вручили по карамельке и печенюшке. Мы спрятались в пустом темном классе, и я, безумно влюбленный в Ирочку с первого взгляда, без сожаления и утраты отдал ей печенье, и конфетку. Она чмокнула меня в намазанную помадой щеку и захрустела лакомством. А я, лопух, так и не признался ей в своем первом чистом чувстве. Не успел. Поскольку в новогодние каникулы мы от почтальонши тети Нади переехали в другую, близкую от центра, часть города. В предоставленную сестре райкомом комнату с отдельным крыльцом и сенями в новой бревенчатой пристройке к дореволюционному барaku. Так что третью четверть мне пришлось начать в двухэтажной школе-четырёхлетке. Тыльная сторона нашего барака была обращена к школьному двору, а торцовая — к скверу с летним кинотеатром и танцевальной площадке. Здесь еще прошлым летом, в ночь на 22 июня, гремел духовой оркестр, а мы, пацаны, подглядывали, как выпускники средней школы, парни и девушки, танцевали и целовались в кустах акации и сирени.

Без помпы отметив в каникулы свое десятилетие, я стал шмыгать в школу со своего двора кратчайшим путем — через дырку в заборе, мимо надворной школьной уборной.

Радость переезда в собственное жилье сразу сменилась тяжелым разочарованием. Квартира оказалась безнадежно холодной: сколько ни топи, тепла не прибавлялось. К утру замерзала вода в ведре, а, бывало, и картошка в мешке, положенном на огромную и бесполезную русскую печку. Сырые мерзлые дрова не хотели гореть в ее упрямом чреве — только потели и выделяли чад не в трубу, а в комнату, выгоняя домочадцев на улицу. Спички, как и соль, а тем более сахар, стали невосполнимым дефицитом. Многие, особенно курильщики самосада и махры, и мы, собиравшие за ними бычки, перешли на добычу огня кресалами и древесным мхом. У меня такого инструмента не было и приходилось, стесняясь и извиняясь, бегать за огнем к соседям и приносить от них лучинку, подожженную от пламени их лампы или затопленной печки.

Так что и мне довелось получить предметное представление о муках советских граждан в ленинградской блокаде. Горячий комсомольский задор сестра щедро тративала на воспитание молодежи в духе преданности делу Ленина-Сталина и мобилизацию духа юношей и девушек на трудовые и боевые успехи. А свой быт, потом и семейный уют, не научилась устраивать до конца жизни. Хотя, думаю, тогда у нее, как секретаря райкома, было достаточно власти, чтобы заставить строителей устранить очевидный брак: проконопатить стены, утеплить потолок и пол, довести до ума печку и жить по-человечески.

А может, строителей тех отправили уже на фронт, и они оплачивали кровью вину

перед нами.

В начале нашей жизни в новой квартире в гости к Наташе дня на два появился после лечения в госпитале ее старый знакомый — однокурсник по мамадышскому педтехникуму. Одет он был в командирскую амуницию — шевиотовую зеленую и габардиновые синие галифе, хромовые сапоги и офицерскую шинель. А на широком ремне с командирской пряжкой — кобура с пистолетом «ГТ». Он даже позволил подержать увесистый пистолет в руке и, с вынутой из рукоятки обоймой, пощелкать курком.

Он рассказывал нам за столом, заставленным его продуктами и бутылкой водки, что лечился не от ран, а от пневмонии и ревматизма. Как дважды ему удалось избежать смерти под Ржевом, когда накануне наступления всему командному составу выдали белые полушубки, а ему нет. В ходе атаки немецкие снайперы отстреляли всех наших офицеров в белых шубах, оставив наступающих без руководства и управления. И почти весь полк после этого полег на поле брани. Его же спасла старая шинель.

А глубокой осенью сорок первого, при выходе из окружения, ему, чтобы не заметили немцы, довелось провести долгое время в ледяной воде болота. Даже пришлось с головой скрываться под воду и дышать через соломинку. Из окружения он вышел, а в госпитале едва выжил, и теперь признан негодным к строевой службе. Ждет нового назначения...

Спать в новом жилище при таком холоде было мукой, готовиться к урокам — особенно выполнять письменные задания — просто невозможно: чернила замерзали, руки и ноги коченели. Благо в соседней квартире, в старой части барака, у Грызуновых, было тепло и мне дозволялось к ним приходиться. Может, потому, что Мишка, конопатый длинноносый пацан, состоял второгодником в нашем классе, и мать и бабушка надеялись, что с моей помощью их дитя, награжденный с рождения худой памятью и ленью, преодолеет барьер наук и станет третьеклассником. Мишкин отец уже погиб на фронте. Кроме Мишки у его матери, помню, очень доброй розовощекой, крепкой тридцатилетней женщины, на иждивении был еще пятилетний Санька. Плюс свекровь, зловредная, еще не старая, склочница, проливавшая слезы по погибшему сыну. В разговорах с моей мамой она боялась, что невестка в связи с гибелью мужа может отправить свекровь в родную деревню, где ей придется работать в колхозе. А в Мамадыше она от обязательной трудовой повинности была освобождена законно, потому что присматривала за озорным и хитрым не по годам, краснощеким, как и его мать, Санькой.

К Грызуновым подселили эвакуированную из Украины семью — молодую красивую женщину-врача с грудным пацаном и ее мать, удивлявшую дворовую общественность небритыми бородой и усами. Во дворе ей сразу дали имя — Бабушка-еврейка. Потому что за стенкой нашей квартиры жила Бабушка-татарка со своей больной дочерью. А Мишкину бабушку соседи по барaku не любили и давно называли Грызунихой. Летом, как я убедился позднее, в ведренную погоду она днями сидела на крыльце и бдительно следила за перемещением лиц всех возрастов, полов и социального положения. А на лавочке у ворот делилась нелепыми версиями со старухами из других домов о роде и неблагоприятных целях соседей.

Переход в другую школу был связан для меня с не легким вхождением в классную элиту. Звездой 2-го-А бесспорно был Левка Шустерман, сын директора строящейся в Мамадыше ткацко-прядильной фабрики, эвакуированной с Запада с оборудованием и частью специалистов. Он был стройным красивым пай-мальчиком с кудрявыми черными волосами. Родители одевали его, как лондонского денди, в костюмы с белыми рубашками. По отношению к двум авторитетам-силачам и их шестеркам Лева проявлял необычайную щедрость — приносил им куски хлеба, щедро сма-

занные маслом, иногда с ломтиками мяса поверх этого недоступного прочим смертным лакомства. Девчонки противно кокетничали с ним, привлекая его внимание ужимками и прыжками, и он небрежно совал им карамельки и открытки. Все было Левкой схвачено, за все заплачено.

С моим крестьянско-пролетарским сознанием смотреть равнодушно на это социальное расслоение коллектива было невыносимо. Еще до школы, в родной деревне Букени, я прочел книжку Николая Островского «Как закалялась сталь». Роман этот был всего на год старше меня и в нем содержался доступный даже шестилетним беднякам инструктаж, как закалять дух, мускулы и тело для борьбы с буржуйскими сынками и дочками. Вокруг меня сплотилась шайка мне подобных нищих, но богатых врожденным классовым сознанием ребятишек: Петька Бастрин, Мишка Грызунов, эвакуированные белорусы — минчанин Вилька Захаров и Витька Баранов, кажется, из Могилевска. Нам сочувствовали и робкие одесситы, тоже эвакуированные сыновья сапожника-инвалида Каца, — Мойша и Абрамка.

Не помню, какой предлог нашелся для перехода от холодной войны к горячей схватке. Но на одном из перерывов, когда Левка раздавал в просторном коридоре бутерброды голодным вассалам, я во главе своих головорезов подлетел к нему для нанесения смертельного удара вознесенной над моей головой липовой «булавой», выпиленной и выструганной мной и Мишкой Грызуном из доски. Левка увернулся, бутерброды из его газетного свертка полетели в толпу, завязалась потасовка. Победителей в ней не нашлось. Зато зачинщика кто-то выдал сразу. Меня разоружили и безотлагательно доставили в учительскую вместе с «вещдоком» — булавой. Учинили допрос с пристрастием и приговорили: в школу без сестры Наташи, которую знал весь просвещенный бомонд города, мне не появляться!..

Зато с этого дня со мной, новичком, и друзья, и противники стали считаться. Особенно Вика, эвакуированная с матерью из Смоленска. Мы сидели с ней за одной партой, и она женским чутьем поняла, как я в нее беззаветно влюблен. По примеру Левки Шустермана, я перетаскал из Наташиного фотоальбома все открытки и подарил ей, такой прекрасной девочке, оказавшейся в захолустном Мамадыше из легендарного города. Там наши бойцы и партизаны сражались на смерть, чтобы не допустить фашистов к Москве. Она уже побывала под обстрелом и бомбежками, осталась жива — и вот сидит рядом со мной, подсказывает, дает списывать. И не бежит с девчонками на перерыв, а терпеливо объясняет мне, как правильно решать примеры по арифметике.

\* \* \*

В огромной очереди на документальный фильм о разгроме немцев под Москвой я едва сам не стал жертвой от руки контролерши на входе. Чтобы сдержать напор толпы в дверь зрительного зала, она уперлась растопыренными пальцами в мое горло, не прикрытое шарфом за его неимением. И быть бы мне задушенным, если бы кто-то из милосердных взрослых не заорал и не оттолкнул взбешенную и напуганную зрительской атакой тетку от моего стиснутого горла. Прикрывая рот ладонью, я прокашлял весь сеанс. По окончании мы с ребятами обсуждали картину на темной улице. Меня вдруг осенила крамольная мысль: почему, мол, нашу победу в битве комментатор фильма приписывает одному Сталину? Друзья со мной согласились, и мы продолжили развивать эту опасную тему почти шепотом.

Родители научили нас бояться упоминать имя отца народов всуе. Не приведи Господь, растоплять печку газетой с его портретом при посторонних свидетелях или подносить его усатое изображение к определенному месту в надворном сортире. Донос бдительного соседа — и ты исчезаешь в неизвестном направлении и месте как

враг народа...

К этому же времени относится и боевой старт моей литературной эпопеи.

Сестра Наталья приносила домой из своего РК ВЛКСМ много газет — почитать и пустить на растопку. Черная картонная тарелка репродуктора не выключалась с утра до полуночи, когда радиоузел замолкал из-за остановки электростанции. Это позволяло быть в курсе главных событий того времени — положения на фронтах. Наташа повесила на стену большую карту СССР и каждое утро, по информации диктора Левитана, отслеживала продвижение немцев с запада на восток черными флажками на булавках.

Большинство книг городской детской библиотеки мной были прочитаны — и проза, и стихи Чуковского, Барто, Михалкова, Маяковского. Так что к радостному событию об уничтожении нашей артиллерией короткоствольной немецкой мортиры по кличке «Толстая Берта» я был. Она успела пульнуть по ленинградскому району Колпино десять снарядов весом около тонны каждый. Это меня наполнило неведомо откуда рожденным приливом вдохновения. Куплеты о гибели толстухи, помещенные в школьной стенгазете, принесли автору первую известность и похвалу учительницы. Во всяком случае, с публикации о Берте я обрек себя на долгие годы безгонимой корреспондентской и редакторской работы во множестве стенных газет в армии и на гражданке.

\* \* \*

А мартовский солнечный день сорок второго года подарил мне несказанную радость. После последнего урока я, как всегда, со школьного двора протиснулся в дырку забора в наш барачный двор и, глядя под ноги, побежал с портфелем по талым лужам к своему крыльцу. Хотел обогнуть какую-то старуху с изможденным желтым лицом. Остановиться заставил знакомый, певучий, как флейта, голосок:

— Шура, сынок! Ты что, милый, меня не узнал?

Да это же мама! Моя мама!.. Мы стояли посреди большого, с не растаявшими сугробами двора и плакали. И я, уже насмотревшийся за полгода войны на истощенных и опухших от голода людей, рыдал от сострадания, взглядывая на родное маминно лицо. Она, в свои сорок четыре казавшаяся всегда молодой и быстрой, превратилась в бабушку и еле передвигала ноги в валенках с галошами.

— Я вас быстро по адресу нашла, а ключа-то от дома нет,— говорила мама, словно оправдываясь, своим тоненьким детским голосочком.— А ты так вырос, прямо не узнать! Уже с меня ростом, сынок!..

Весной в доме стало теплей. Да еще, по случаю явления мамы с огневых позиций, дров мы не пожалели, натопили печь и подтопок от души. Сварили гороховый суп на конском мясе. И нагрели воды в большом, литров на десять, эмалированном чугуне, чтобы мама, за неимением бани, могла помыться. На плите подтопка или в печке — не помню, каким образом,— прожарили всю мамину одежду, чтобы истребить мириады вшей на нижнем белье. Я и сам давно привык их кормить своей кровью, но при виде такого лениво шевелящегося стада на исподнем меня стало тошнить.

А гороховый суп маму едва не убил. Хорошо, что за бревенчатой стенкой, у Грызуновых жила эвакуированная врачиха. По стуку и крику Наташи, она прибежала к нам вместе с бородатой и усатой матерью. Им чудом удалось спасти мою изголодавшую маму, неумеренно нахлебавшуюся супа, от заворота кишок.

\* \* \*

Летом сорок второго нас троих, маму, меня и Веруську, подстерегало еще одно

событие: Наташа, сказала, что выходит замуж. И, как словом, так и делом, стала женой Ахмета Касимовича Аюпова, заведующего райземотделом райисполкома, до этого дважды женатого без последствий — детьми он брошенных супругов не награждал. А до этого Наташа твердила, что дождется с фронта Александра Пугачева, ее бывшего коллегу-учителя по школе в селе Секинесь. А теперь офицера-артиллериста, который регулярно слал ей письма с театра боевых действий, как поэт Симонов актрисе Серовой: «Жди меня — и я вернусь...»

Измена сестры меня сильно расстроила: дядю Шуру я знал с четырех лет, он подарил мне железный грузовичок. Вскоре, устав таскать дребезжащую игрушку за собой на веревочке, я сунул подарок в печку, чтобы удостовериться, горит ли железо. Потом в избе долго воняло горелой краской и паленой резиной.

Наташа ушла жить к дяде Ахмету в двухэтажный четырехквартирный каменный дом на окраине Мамадыша, недалеко от кладбища с разоренной церковью. В одной квартире с молодыми обитала племянница дяди Ахмета, тетя Фая с кудрявой черноволосой дочкой Лорой, моей ровней. В нее нельзя было не влюбиться, и я забыл о своей соседке по парте Вике. Тем более что после зимнего отката немцев на запад от столицы больше, чем на сто километров, она с мамой после окончания учебного года уехала куда-то к родне в Подмосковье.

Муж тети Фаи, дядя Леша, офицер-летчик, бомбил немцев на фронте, за что она получила хорошие деньги по аттестату, подрабатывая в исполкоме машинисткой.

Наташа жаловалась, что племянница мужа съедала ее, и, если и так дальше пойдет, она вернется к нам. Чего я очень желал. Потому что нам без ее пайка и денег существовать стало трудно. Почти невозможно. Мы голодали, питаясь крапивным и свекольным супом, иногда пшенной кашей и картошкой. Хорошо, что Наташа купила нам козу Маньку, и мы могли забеливать кашу и постный суп ее пенным молоком. От нее родился козленок, превратившийся осенью в солидного кастрированного козла. Лишив его жизни накануне 25-ой годовщины Великого Октября, мы какое-то время поминали озорное животное.

\* \* \*

Мама вскоре после возвращения с окопов пошла подсобной рабочей на строительство ткацкой фабрики: месить раствор, подносить кирпичи, раствор и другие стройматериалы. Я бегал к ней к обеду в фабричную столовую, и она поровну делилась со мной скудными блюдами и отдавала мне незабываемое лакомство — единственную конфетку-подушечку, положенную по норме к чаю.

Летом Наташа достала путевку и отправила Веруську в пионерлагерь. А чтобы как-то подкормить сынка, мама подсказала мне, девятилетнему и ослабшему от хронического голода, пойти в родную деревню, в Букени. Погостить у моей крестной матери, Ени Костровой, жены двоюродного брата моей мамы, матери семерых детей. Ее я звал просто «кокой». Муж коки, дядя Илья, двоюродный брат моей мамы, охотник на дичь — зайцев и куропаток, балагур и любитель самогона, воевал. А старший сын, семнадцатилетний Володя, в ожидании призыва в армию, как грамотей с семилеткой, заведовал колхозными амбарами с зерном и, обращая малую часть его в муку для личных целей, сытно кормил всю семью.

Двадцать пять километров проселка босиком, в одной рубашонке и коротких штанишках от Мамадыша до Букеней,— в полном одиночестве, с одним куском хлеба, парой вареных картошек и бутылкой козьего молока в холщевой кошелке,— запомнились на всю жизнь. Ни одной попутной или встречной подводы, ни одной живой души — только поля незрелой пшеницы, ржи, овса, а за ними таинственная полоса леса — и я один, затерянный во Вселенной голодный пацан.

А, по слухам, в лесах накопилось много дезертиров, вынужденных грабить на дорогах, уводить в лес колхозный и крестьянский скот и порой пробавляться человеческой. По Мамадышу бродили слухи, что в пирожках с мясом, купленных на колхозном базаре за бешеную цену, обнаруживали ногти и еще какие-то части людского тела. Говорили и о стаях волков, нападавших на скот и людей.

Где-то на половине пути вдруг похолодало, подул влажный ветер, по ржаному полю, как по озеру, забегала тревожная рябь, над лесом нависла, рассыпаясь всплесками молний и грома, черно-сизая туча. И я увидел впервые в жизни, как на меня двинулась стена дождя. Ливень был кратковременный, буйный, можно сказать, озорной. Только мне стало не до смеха: мокрый до нитки, я дрожал, как вытщенный из воды щенок. Хорошо еще, что хлебу не дал размокнуть — успел съесть его сразу после выхода из города.

Солнце, словно обрадованное исчезновением тучи, засияло с удвоенной силой. С ржаного поля, украшенного синими глазами васильков, поднимался в бирюзовое небо душистый пар от ожившей пашни. И, как в дивной сказке, на другой стороне поля возник могучий рогатый зверь — лось, похожий на своих собратьев, каких я видел уже прежде, когда выезжал с райкомовским конюхом и его сыном Хаем в ночное. Сохатый с высокомерно поднятой головой, украшенной крылатыми рогами, глядел в мою сторону, словно раздумывая, стоит ли ему забодать и растоптать беззащитного человечка. Медленно развернулся и растворился в окропленной небесной влагой чаще.

Идти стало трудно: грунтовая дорога прилипла к босым, скользящим по суглинку ногам, грозя падением в липкую грязь. Сняв с себя рубашку и отжав из нее воду, попытался идти по обочине — и в кровь исколол ступни, ошпарив их мелкой крапивой. Присесть на сырую землю и отдохнуть тоже стало невозможно. Зато солнце после грозы светило ярко, и я быстро согрелся.

Удивился, что в деревушке Нижние Кирмени не встретил ни одной живой души. Даже собаки не лаяли, словно и их послали на фронт. Наверное, все от мала до велика работали в поле или на своих огородах.

А через шесть километров, перед закатом солнца, увидел с холма и свои родные Букени, где еще существовала и наша избушка под соломенной крышей, с заколоченными дверью и тремя окошками. Да и вся деревня, как я вскоре с грустью почувствовал, казалась заколоченной. Бедная до войны, она сейчас изнемогала от нищеты и голода. Остались в ней одни старики да бабы. Лошадей, что справнее, забрали в армию, так что пахали, боронили и таскали лобогрейки быки и коровы, не приученные к этому занятию. А за трудодни колхоз расплачивался одними палочками и оставался в вечном долгу перед государством. Питались советские крестьяне с огорода корнеплодами и зеленью, полевыми и лесными травами и ягодами и тем, что удавалось украсть, с риском угодить в тюрьму. К посевной и посадочной поре у многих не оставалось семян — и несчастные попадали в кабалу к односельчанам, как некогда случалось в Букенях и с моей мамой.

Однако семья Костровых благодаря кладовщику Володе жила в завидном достатке. Встретили и откармливали меня хлебом, кашей, молоком и сметаной добрая, как и моя мама, кока Еня и ее дети, мои троюродные братья и сестры, на славу. С моим ровесником Мишкой мы пропадали на речке Дигитлинке — купались, загорали и удили.

Все было прекрасно до того жуткого дня, когда кладовщик Володя не натворил беды. В колхозном амбаре бабы работали под его контролем на веялке — очищали от пыли и сора остатки прошлогоднего зерна для отправки на мельницу. Парень, унаследовавший от отца, дяди Ильи, его шепотливый характер, надумал бабенок напугать. Взял в караулке отцовское ружье, с которым по ночам охранял колхозное добро от

голодных односельчан, прокрался за амбар и выстрелил картечью в бревенчатую стену. Одну женщину кусок свинца, без труда пробив паклю и древесину на стыке бревен, сразил на месте, а вторую тяжело ранил. Ее живой довели до Мамадыша, и я с Петькой Бастригиным через несколько дней видел ее труп на стеллаже, за окном морга райбольницы.

За эту «шутку» Володя бы наверняка угодил в Гулаг на многие лета. Его подержали сколько-то в катажке до исполнения восемнадцати лет и отправили на фронт. Там он искупил свою вину кровью — потерял ногу, в Букени возвращаться не стал, как и раненый отец. Вся семья обосновалась после войны на Урале, в Сарапуле.

*Год 1943-ий*

*Страдания ведут  
человека к совершенству.*

Антон Чехов

После наступления сорок третьего года, в зимние каникулы, по приглашению какого-то хлебосольного председателя колхоза, Наташе вздумалось отправить Веруську в гости в его семью.

Хаю, пятнадцатилетнему сыну райкомовского конюха, отец поручил доставить девочку на санях в деревню за четырнадцать километров от Мамадыша и возвратиться в тот же день.

Хай (мальчишки часто дразнили угрюмого подростка, плохо говорившего по-русски, меняя для забавы гласную в его имени на другую) запряг лошадку серую в легкие сани, и я на них зарылся в сено — проводить сестренку до окраины города. Погода была ясная, безветренная, для января теплая — всего градусов десять мороза. За городом мне не захотелось расставаться с Верой и Хаем, и я вызвался прокатиться за компанию до конечного пункта и обратно. Они в тулупах, а я в своем ватном пальтишке и валенках. С большим опозданием пришлось пожалеть о своем легкомыслии: чтобы согреться, мне периодически приходилось бежать за санями по ускользающему из-под ног снегу. А потом лезть к Веруське под тулуп. Только он до конца не запахивался, и большая часть тела оставалась на холоде.

Где-то в середине пути распушила снежную замать пурга. Дорога — этим маршрутом мы никогда не ездили — скрылась под пухлым саваном, и мы сбились с трассы, несмотря на вешки, воткнутые в снег с правой стороны в качестве ориентиров.

Бес, по Пушкину, долго водил нас по сторонам пропавшей под снегом дороги, наполняя нас паническим страхом окончательно сбиться с пути, заблудиться в белой пурге и надвигающейся ночи. Обрадовались, когда в густых сумерках показалась с возвышенности крохотная, с дюжину домов, деревенька, утонувшая в сугробах. Спустились с горки, и лошадь, потеряв под копытами твердь, затащила сани в глубокий снег, утонула в нем всем крупом и стала судорожно биться передними ногами в белой каше, задрав взнузданную морду в беспросветное, равнодушное к нашим страданиям небо.

Веруська, не покидая саней, уже давно плакала, укутавшись в тулуп. Хай, увидев, что пасть Серого в крови, тоже заревел и отказался от борьбы за существование. Я заорал, захлебываясь снежным ветром, чтобы он хлестал лошадь кнутом. А сам добрался ползком до ее головы, повис на гужах. Мозоля окровавленные губы перепуганного коня стальными удилами, мне каким-то чудом удалось вывести подводу то ли на наст после недавней оттепели, то ли на дорогу под снегом. Во всяком случае, вскоре мы оказались на деревенской улице и стали стучаться поочередно в окна или ворота изб. Добрые люди пустили нас переночевать. И мы сразу, не раздеваясь, улеглись на полу

на одном тулупе и укрываясь другим. Изба оказалась настолько бедной, что нам не предложили ни картошки, ни чая. А единственную комнату осветила хозяйка в рваной телогрейке на пару минут коптящей лучиной. Оказалось, что мы сбились с пути, приехали совсем в другую, близкую к пункту нашего назначения, деревню.

Благо следующее утро выдалось ясным и безветренным. Лошадь отдохнула, съев все сено из саней. Дорога в четыре километра, подметенная ветром, до деревни председателя колхоза заняла совсем мало времени. А день у гостеприимных хозяев прошел для нас, как настоящий праздник,— со щами, пирогами, плюшками, салом и солеными груздями, прикрытыми дубовыми листьями в пузатой кадлушке.

На обратном пути в Мамадыш я вспомнил, что сегодня мой десятый день рождения. Которого могло бы и не быть, если бы позавчера меня победил страх. В городе сначала забежал домой к сестре. Она и дядя Ахмет были на работе, а нянька возилась с больной племяншкой Светкой.

Я использовался этим моментом и отлил из пятилитровой бутылки в кладовке чекушку водки-сырца с мамадышского спиртзавода, потребляемой зятем с завидной регулярностью. А вечером мы с Хаем отметили мое десятилетие в райкомовской конопше. Выпили сивушный напиток, закусывая оладьями, испеченными его мамой из муки, полученной из гнилой картошки.

И как же качалась ночная улица, когда я плелся домой! Во все горло распевая: «На позицию девушка провожала бойца!..» А как меня выворачивало наизнанку весь остаток ночи, мне уже рассказала мама...

\* \* \*

В начале весны сорок третьего года, когда мы с мамой спали на печке, меня посетил вещий сон. В первые мгновения он воспринимался мной фрагментом черно-белого фильма. По заснеженному полю, сквозь разрывы мин и снарядов, бежит в атаку наша пехота. Один из атакующих летит лицом вперед на землю, и я с криком и плачем осознаю, что это мой брат. Мама просыпается, прижимает меня к себе и спрашивает, чего я ее испугался. Мне не хочется говорить, расстраивать ее, но удержать свой страх в себе не в моих силах:

— Я увидел, как Кирилл убили.

Мама не суеверна, верит только в Святую Троицу, всегда троекратно крестится, вставая с постели. После работы долго молится перед сном в дальнем углу комнаты. А сейчас мы, обнявшись, плачем вместе на остывающей печке, и она шепчет непонятные мне слова молитвы.

У Грызуновых отца убили в начале войны. Зато поселившаяся у них бабушка-еврейка похвасталась, что ее дочь-врачиха получила от мужа благую весть. Из лейтенанта он стал старшим лейтенантом и получил медаль «За отвагу». А от Кирилла давно нет писем. Мама скрывает от меня свою тревогу и пытается иногда найти утешение в беседах на крыльце с дежурящей на нем бабкой Грызунихой. И она утешает маму апокалипсическим предсказанием:

— Не кручинься, Дуся, скоро всех убьют, как моего сыночка единственного Алешеньку.

Черную весть принесла Веруська в июне, в жару, за несколько дней до окончания второго года войны. Сестра Наталья после того, как они с Ахметом, после рождения дочки, получили квартиру, забрала Веру к себе. Она подслушала разговор супругов и прибежала, обливаясь слезами, поделиться новостью со мной. Мы недавно вернулись с Вятки; я играл с ребятами в прятки во дворе. Сестренка, не обращая внимания на Грызуниху, зорко следившую с крыльца за нашей беготней, выпалила:

— Кирилл немцы убили! Наташа письмо получила от его друзей: 26 марта, под

Орлом, осколком мины в затылок. Только ты молчи, маме не проговоришься: Наташа сама хочет ее подготовить.

Я разрыдался, упал и стал кататься по лужайке, чувствуя, как грудь разрывается, а комок в горле мешает дышать. Веруська испугалась, сбегала домой, вернулась с ковшом воды, плеснула на меня и дала попить.

Потом я умолял Грызунику ничего не говорить моей маме. Старуха кивала головой и соглашалась. А вечером, едва завидев маму, возвращавшуюся с фабричной смены, в воротах барака, взлетела, как ворона, с насиженного места, ринулась ей навстречу. И, со старушечьим зауспокойным подвыванием, вплотную к маминому лицу, запрочитала:

— А Кирюху-то твоево, как и мово Алешеньку, фашисты проклятые ишшо в марте тоже убили!

Вот старая ведьма!..

Маму страшная весть оглушила — она стояла, покачиваясь и сжав голову руками. Я помог ей дойти до крыльца, а Грызуника продолжала клеветать нам в затылок словами и притворным воем.

И как же мне стало страшно через минуту, когда моя сорокашестилетняя мама, опустившись на ступеньку нашего крыльца, разразилась разрывающим душу рыданием, стала клочьями выдирать волосы и биться головой о бревно барака,— этого не забыть до конца дней моих!..

\* \* \*

С той поры у мамы участились ночные сердечные приступы. Скорой помощи в Мамадыше сроду не бывало. Я стучал молотком в стенку и зывал о спасении мамы. Прибегала добрая эвакуированная врачиха и спасала маму от гибели. Наверное, она же посоветовала маме обратиться в больницу, получить инвалидность, уйти со стройки и перейти на более легкую работу.

Третью группу инвалидности маме дали без особых хлопот. Из подсобных строителей ее перевели охранницей фабричного лабаза и пойманных в половодье бревен на берегу Вятки, пронумерованных и сложенных в штабеля к дощатой стене лабаза. Это означало, что обеды в фабричной столовой маме были не положены, поэтому умеренные пытки голодом для нас обострились до полного отчаяния.

Особенно, когда зимой сорок третьего, в начале февраля, в продуктовой лавке карманник, прижав мое хилое тельце к впереди стоящей тетеньке, стибрил хлебные карточки, выдававшиеся на месяц. Мама восприняла это известие, как смертный приговор нам обоим.

Положение сестры Наташи и дяди Ахмета в партийно-хозяйственной иерархии Мамадыша позволило мобилизовать немногочисленных ментов на поиск карточек. Карманника я не раз видел в этом же магазине и на базаре, его быстро изловили по моему описанию, и через неделю карточки, частично реализованные воров, вернули. Но чего стоила нам эта неделя голода и страха близкой смерти — лучше не вспоминать!..

У сестры пропало молоко, и крошечной Светке требовалось искусственное питание. Молоко, масло, манку и другое необходимое для девочки сестре и зятю приходилось покупать на двух рынках города. А цены на базаре царили бешеные, не доступные простому люду. Так, на месячную мамину зарплату можно было купить разве что пару караваев хлеба. Но тогда бы мы не смогли выкупить продукты по карточкам.

Словом, мы остались без поддержки партии в лице Наташи и правительства в образе дяди Ахмета. Для того чтобы иметь возможность работать во имя победы, они наняли няньку, деревенскую молодую женщину, согласившуюся служить им только за кормежку. И нам лишь изредка перепадало немного рисовой, перловой или горо-

ховой крупы от райкомовско-исполкомовского спецпайка для праздничных трапез с барского стола.

Дважды дядю Ахмета призывали в армию с перспективой понюхать пороха на фронте. Хотя прежде за тридцать пять лет жизни воинская повинность его не коснулась. В семье сестры устраивались проводы, больше похожие на поминки,— с водкой, закусками, песнями и слезами. Он уезжал на исполкомовских лошадях то в Кукмор, то в Казань. Но броня, освобождавшая его от воинской службы и весьма вероятной гибели на фронте, срабатывала, и он вскоре возвращался к семье. А в конце лета его перевели на работу в татарский столичный град инструктором сельскохозяйственного отдела республиканского обкома ВКП(б) и дали квартиру в полуподвале на улице Малой Галактионовской. Наташа со Светкой уплыла к нему на пароходе по Вятке, Каме и Волге на подготовленное мужем место в том же почитаемом учреждении — инструктором отдела народного образования.

Сестренку Веру с собой они не взяли, определив в мамадышский детдом. Она прибегала к нам и умоляла маму забрать ее к себе. Но тогда бы мы точно все умерли с голода. Нас спасали коза, несколько грядок картошки и овощей в общем барачном огороде. Да еще то, что мама в теплое время года на работе, сидя с прялкой или спицами на крыльце лабаза, и по редким выходным дням дома пряла шерсть и вязала носки, чулки и варежки по заказам жен начальников цехов, смен, мастеров своей фабрики. Качество маминой продукции ценилось высоко, но оплачивалась весьма скромно. Заказчицы расплачивались с ней чаще продуктами, чем почти бесполезными деньгами. Изредка маме поступали алименты от незнакомого мне биологического папаша, работавшего продавцом в подмосковной Шатуре.

Практически безнадзорный, я превратился в курящего и виртуозно владеющего матом уличного хулигана. Подбивал своих друзей, чаще всего Петьку Бастригина и Витьку Козырева, лазить по чужим огородам за огурцами, помидорами и подсолнухами. А Хай с памятного новогоднего вояжа к председателю колхоза и потребления водки-сырца непременно приглашал меня в ночное — пасти стреноженных райкомовских и исполкомовских лошадей на лугах на опушке смешанного леса, по соседству с колхозным картофельным полем.

Поездки верхом на лошадях с частыми падениями и со стертым до крови задом, ночи у костра, заполненного ворованными клубнями, греют душу сладкими воспоминаниями о жутком детстве. Страшные истории и сказки про Вия и множестве других гоголевских и андерсеновских персонажей, рассказы о подвигах наших бойцов на фронте, вероятность знакомства со скрывающимися в лесах дезертирами делали летние ночи таинственными и романтическими.

По радио и из журнала «Огонек» летом сорок третьего я узнал об организации в стране суворовских училищ. Мама с трудом собрала нужные документы. Однако почта в войну, как и в нынешнее время, работала в замедленном темпе. Вместо вызова для сдачи вступительных экзаменов поступил ответ, что мои документы в приемную комиссию пришли с опозданием. Предлагалось повторить попытку в следующем году.

### *Год 1944-ый*

*Когда приходит голод, уходит стыд.*

Грузинское изречение

Вести о победах нашей армии на фронтах поднимали моральный дух советских граждан и никак не отражались на улучшении материальной жизни. Скорее наоборот, выжить тем, кому повезло выжить, с каждым днем становилось сложнее. Об

американской свиной тушенке ходили приятные слухи, а кто ее попробовал среди моих друзей был только один: Вовка Игнатъев — племянник второго секретаря райкома. Но, как он мне сказал, жена секретаря не позволяла ему выносить продукты за пределы квартиры. Хотя, справедливости ради, я благодарен Вовке, что изредка он ухитрялся стянуть из секретарских запасов кое-что и доставать их из-за пазухи дубликатом бесценного груза для меня.

Может быть, и Левка Шустерман тоже шамал американскую тушенку, но поставки бутербродов в наш класс он давно прекратил, и бывшие прихлебатели стали называть жмотом или и того обиднее.

А для рядового люда даже нищенские пайки на продукты, нормируемые по карточкам, полностью никогда не отоваривались. Дети превращались в рахитиков и дистрофиков. Матери не редко пухли и умирали от голода, чтобы спасти детей. Грабежи, воровство и мошенничество, преследуемые жестокими законами военного времени, может, и пугали, но все больше людей, стоящих перед выбором — умереть честными или выжить ворами, становилось преступниками.

И я, в свои одиннадцать, не стал приятным исключением. Голодным щенком блуждая по базару, пару раз безнаказанно стянул с прилавка спекулянтков, подобно моему пропавшему без вести Джеку, жареную рыбешку и лепешку.

Едва ли не бедой обернулась для меня, на сегодняшний день последняя в жизни, совершенная кража не из-за голода даже, а по недомыслию.

На базаре, недалеко от дома, где недавно, до отъезда в Казань, жили сестра с зятем и племянницей, торговал разной мелочью благородный с виду старик с седой бородкой. Товаром его в основном были трофеи — фрицевская и гансовская мелочевка. Аккуратными рядами на голубой клеенке лежали зажигалки, губные гармошки, штампованные часы, портсигары, мундштуки, иголки, булавки, нитки, пряжки солдатских и офицерских ремней — советских латунных со звездой и немецких алюминевых с выдавленными свастикой и буквами «Gott mit uns» — «С нами Бог».

Изо всех этих добытых нашими воинами на полях сражений, у пленных фрицев и в освобожденных от оккупантов российских селениях сувениров и полезных предметов мне понравилась зажигалка в эбонитовом коричневом корпусе. Дня два я любовался на красотку в упор и издали, а на третий не вынес соблазна — подскочил к прилавку, схватил желанную крошку и бросился наутек. Старик что-то крикнул мне вдогонку, визгливо заголосили его товарки-торговки.

Но отход мной был тщательно продуман: ворота базара находились совсем близко, я выбежал на улицу и зашлепал босыми ногами по дощатому тротуару. Оглянулся и обомлел: за моей спиной несся хмырь на голову выше меня в рваной рубашке и штанах, завсегдаята базара. Он уже был готов к смертоносному прыжку, когда из-за угла появился Витька Козырев, крепкий мальчишка на класс выше и на два года старше меня, верный друг и защитник. Козырь уступил мне беговую дорожку, а преследователю подставил ногу. И тот с отчаянным воплем полетел с тротуара на мощенную булыжниками проезжую часть. Мы скрылись, не интересуясь его дальнейшей судьбой.

На следующий день, наигравшись с зажигалкой, для которой не нашлось ни кремня, ни авиационного бензина, я решил вернуть ее законному владельцу. Или тому, наверное, кто брал трофеи под реализацию у списанных по ранению фронтовиков и отпускников. Мой порыв к благородному поступку перекрыл у ворот тот же оборванный татарчонок и с устрашающим зубовым скрежетом жестом потребовал отдать зажигалку.

Предвидя столкновение с завсегдаятаем, я шел на базар вооруженным и очень опасным. Вместо зажигалки грабитель награбленного увидел в моей руке приставленное к его впалому брюху перо. Собственноручно мной переделанный напильни-

ком из столового ножа финарь. Беспредельщик-уркаган содрогнулся всем своим голодным костлявым телом, попятился и скрылся в базарном круговороте.

Так, не совсем полюбовно, разошлись наши пути навсегда: я понял, что базар не то место, где надо искать счастье, и забыл туда дорогу.

Кормилицу Машку до лета в живых мы оставить не смогли — не было сена, чтобы ее прокормить. Кое-как дали страдальце дотянуть до рождения серого пушистого козленка Борьки. Роды прошли прямо в нашей квартире, поскольку в барачном сарае, в отведенном для Машки закутке, было слишком холодно. Когда Борьку отняли от вымени, мама, втайне от меня, пригласила мужа своей подруги Пугаса — с ним мама вместе пережила окопную эпопею. Пугас отошавшую после родов Машку заколол. Я застал его у нас за столом и заплакал. Небритый и худой, как скелет, Пугас, допив чекушку сырца и дожевав мясо моей любимицы, ушел в Заошму с завернутой в Машкину шкуру ее же ляжкой подмышкой. Горько оплакивая свою ласковую любимицу, в знак протеста я дня два отказывался притрагиваться к ее сваренной жесткой плоти.

Еще большее горе я пережил в июне, когда Борька, привязанный к колу на длинную веревку на лужайке, обмотал ее вокруг кола и покончил жизнь самоубийством. Словами не передать испытанное мной горе и отчаяние, когда прибежал отвязать Борьку и увести в сарай. Мама рассчитывала из его пуха осенью связать мне варежки и носки. Вместо этого ей пришлось отыскать двухколесную тележку-тачку, отвезти за город и похоронить на кладбище павшего скота.

В начале лета питались хлебом по карточкам, по которым 600 граммов полагалось маме и 400 — мне, и крапивным супом. А по мере роста огородных культур — супом из свекольной ботвы и щавеля, в нетерпеливом ожидании молодой картошки.

Трудно припомнить все способы, как набить свой желудок, изобретенные мной и моими друзьями.

С весны пацаны объедались разной травой. Когда Вятка после половодья начинала входить в свои берега, мы на чьей-нибудь лодке переправлялись на другой, левый, берег реки и собирали на заливных лугах дикий лук, кислицу, дудник, дикушу — подобие сибирской черемши. В песчаных ямах на пляже оставалась вода, в ней беспокойно суетилась рыба, в основном мелочь. Для ее поимки обычно использовались наши рубашки, превращенные в сачки. И жизнь рыбьей молодежи заканчивалась без суда и следствия немедленно — на зажженном из хвороста костре. Нанизанные на прутик, как на шампур, малявки плотвы, леща, окуня, хищницы-щуки и бескостной стерлядки после поджарки хрустели на зубах, создавая иллюзию утоления permanently развивающегося детского аппетита. А ягоды не успевали изменить свой цвет, величину и вкус, как уже попадали в детский организм, вызывая поносы и прочие неприятности. Черемуха, смородина, малина, земляника, клубника съедались, не познав радости созревания и продолжения рода. Только и было слышно: «Война все спишет!..» В моде была и среди нас, оборванцев, скабрезная песенка, раскрывавшая тему торопливого и беспорядочного секса на войне: «Будем жать на все педали — все равно война!..»

В июле от Наташи пришло письмо маме с указанием срочно собирать документы по прилагаемому перечню для поступления Шурки, меня то есть, в организуемое в Казани суворовское училище...

Прошлогодний опыт моей неудачной попытки попасть в Сталинградское СВУ пригодился. Заказное письмо в самодельно склеенном конверте со всеми справками — о моем здоровье и подтверждении гибели брата Кирилла на фронте, метрикой, с табелем моей хорошей успеваемости Наташе ушло. Только почта не спешила доставить его, и Наташа бомбила нас бесполезными письмами с требованиями ускорить процесс. Пока, наконец, не поступил от нее вызов на мой приезд в республикан-

скую столицу для прохождения приемных экзаменов и всех других процедур.

\* \* \*

До конца трудного детства было далеко. Да и кончается ли оно?..

О том, как все сложилось дальше — после моего отплытия с мамадышской пристани в казанский порт, до поступления в СВУ и его окончания через семь лет уже рассказано давно, сорок лет тому назад, в моих десяти очерках под общим названием «Казанское суворовское глазами Бидвина». Правда, издание двух книг, включающих это повествование, произошло гораздо позднее: «Сердце суворовца-кадета» — в 2001 году и «Кадетский крест — награда и судьба» — в 2004-ом.

А это беглое описание существования детей в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу я приурочил и посвятил 65-ой годовщине Великой Победы с чувством глубокого поклонения и благодарности Богу и его Сыну, что ценой неисчислимых жертв Добро одолело Зло. С сыновней и братской любовью я низко кланяюсь светлой памяти моей мамы Евдокии Ивановны, брата-фронтовика Кирилла и сестры Натальи, заслуженной учительницы Российской Федерации.

Как легко понять из моего текста, лишь благодаря этим родным людям мне повезло выжить в те жестокие четыре года страшных испытаний для моей Родины и многих стран мира.

Расскажу только, каким мне запомнился тот самый первый День Победы — великий и неповторимый, как в прошлой, так и в будущей истории человеческой цивилизации.

#### ***Год 1945-ый. День Победы***

*Не забывайте, празднуя победу,  
Какой ценою вам она досталась.*

Эдуард Сервус

Этот день начался в четыре утра и превратился в бесконечность, обострив в необъятном солнечном пространстве все самые яркие человеческие чувства. Прежде всего, радость, любовь, гордость, смешанные с сожалениями о невозвратимых потерях дорогих людей, оплакиванием их памяти, скорби по отцам, братьям, сестрам. По тридцати миллионам соотечественников, павших на родной и чужой земле.

Я воспарил всем своим двенадцатилетним телом над матрасом от чьего-то истошного крика: «Победа! Ур-р-ра-а-а! Побе-е-ед-а!» Вскочил на ноги, уцепился за спинку и запрыгал на пружинной кровати, как на батуде, от дикого восторга.

Всей ротой, сотней гавриков, выскочивших из-под простыней в одних трусах, разбрасывая по сторонам подушки, кинулись к распахнутым окнам нашей спальной-казармы на звук беспорядочной пальбы со стороны училищного парка, зеленевшего первой, словно воздушной, листвой. Узнали гораздо позднее: стреляли офицеры и сержанты из неведомо откуда взявшегося у них оружия. Впрочем, все они были фронтовиками, и наверняка, как и многие вояки, прихватили в тыл сувениры — трофейные «парабеллумы» и «вальтеры». Как будто специально для этого великого дня — 9 мая, среду.

Канун экзаменов после первого года учебы в кадетке, а нам на утреннем построении командир роты, подполковник Петрунин, стройный и строгий, похожий выправкой и ледяным взором на Николая I, уже одетый в парадный мундир с орденами и медалями, объявил, что физзарядки, к нашей радости, не будет. А занятий на сегодня — всего три урока. После которых поступила команда: всему училищу: одеться в парадную форму с белыми перчатками, надраить ботинки, пуговицы и

пряжки поясных ремней. Никуда не отлучаться и быть готовыми к торжественному построению всего Казанского суворовского военного училища — пятистам воспитанникам в возрасте от восьми до пятнадцати лет. Хотя в числе моих одноклассников были сыновья полков, воевавшие на разных фронтах: Юрий Брусилов, Виктор Киселев, Борис Овсянников, Иван Пахомов. При поступлении в суворовское они отставали от сверстников по учебе на три-четыре года и были соответственно старше большинства одноклассников. С рождением одного из них, 7 апреля 1929 года, моего закадычного друга, гвардейца-ефрейтора Бориса Овсянникова, ныне отставного полковника, талантливого художника, жителя подмосковной Каширы, я поздравляю каждый год.

Борис, рожденный и чудом выживший в Сталинграде, сын погибшего в бою в начале войны офицера-политрука, сам похоронил умершую от ранения мать в первые месяцы Сталинградского сражения. Угодил в немецкий концлагерь, бежал из него. От голодной и холодной смерти его спасли «боги войны» — артиллеристы, и он под ростком-ездовым полтора года воевал наравне с ними. Подобно тремстам тысячам других российских мальчишек и девчонок — солдат и партизан.

В Белоруссии, под Борисовым, при бомбежке санитарного поезда, ефрейтор Овсянников спас раненого в бедро командира и своего фронтового отца — капитана Друкаря. Оба оказались в казанском военном госпитале. Там, в Казани, в сентябре сорок четвертого, капитан сделал все, от него зависящее, чтобы устроить фронтового сына, не имевшего документа об учебе в сталинградской школе, в только что созданное наше, Казанское, СВУ. А сам, не долечившись, еще хромая, снова уехал воевать уже не на Запад, а на Восток — участвовать в разгроме японской Квантунской армии в Маньчжурии. После войны фронтовые родичи нашли друг друга. И Борис со своей женой Майей, тоже пережившей с матерью в развалинах сталинградский кошмар с начала до конца, каждый День Победы отмечали в гостях в Киеве с полковником Виктором Александровичем Друкарем, в те годы начальником окружного военного госпиталя, и его женой-медиком Анной Кирилловной, прошедшей войну рядом с мужем...

А в тот день, 9 мая 1945 года, на обед нам подали, вместе с любимым пирогом с рисом и ливером, нечто, для меня дотоле известное только из прозы дореволюционных классиков, — две или три крупных дольки бледно-коричневого шоколада. Дежурный офицер воспитатель, старший лейтенант-сапер Георгий Кузьмич Рябенков, олицетворявший для меня отца, — своего я никогда не знал, — пояснил, откуда упал на стол чудесный сюрприз:

— Подарок от евреев Мексики! Так на картонных коробках с шоколадом на русском языке написано.

Грузному высокому начальнику училища, генерал-майору Василию Васильевичу Болозневу, богатырю с интеллигентной бородкой, о построении личного состава училища доложил невысокий, словно родившийся в офицерском мундире вояка, — начальник учебной части СВУ, пышноусый подполковник Иван Иванович Пирожинский, бывший царский кадет. И Болознева, и Пирожинского, воевавших в Первой мировой и Гражданской войнах, отозвали год назад, как и всех наших воспитателей и преподавателей, с фронтов или из госпиталей Отечественной войны для воспитания и обучения нового поколения офицеров.

Генерал произнес с балкона над центральным входом бывшего Института благородных девиц, потом пединститута, а в войну — госпиталя для раненых, краткую речь о нашей Победе. Мы ответили восторженным троекратным «ура», и училище, под марши духового оркестра, вылилось единым телом, поротно, колонной по четыре, на Большую Красную. А потом, у садика Толстого, повернуло на Карла Маркса и, соблюдая равенство, в ногу, пошагало сквозь толпы народа по обеим сторонам улицы,

по трамвайному пути, к центральной площади Свободы.

Иногда гражданские пацаны забегали в просветы между шеренгами, мешаясь под ногами и ломая строй, пока не получали пинка под задницы носками начищенных ботинок и не вылетали с воем в толпу штатских. А с балконов ликующие люди с поднятыми стаканами, с красными пьяными и счастливыми лицами выкрикивали приветствия нам, вроде: «Да здравствуют юные суворовцы, будущие офицеры-защитники нашей любимой Родины!»

И как же наполнялась мальчишечья грудь гордостью за Победу над германским фашизмом!.. А может, и детским предчувствием нашего грядущего жизненного подвига ради спасения Отчизны от ее заклятых врагов.

Площадь Свободы была заполнена народом — туда, как мне сказала потом мама, тоже побывавшая на этом ристалище ранним утром, не сговариваясь, сбежались поднятые с постели известием о Победе люди на стихийный митинг. Незнакомые мужчины, женщины и дети смеялись и плакали, кричали, обнимались и целовались в приливе восторженных эмоций, еще не осознавая и даже не веря, что вот оно — свершилось!..

Наш строй повернул на улицу Пушкина и так же — по трамвайным путям, вытесняя на тротуары народ, — продолжил триумфальный марш к Кольцу, в центр города. Куда, как в Москве к Красной площади, радиально сходятся и поныне несколько главных улиц тысячелетней Казани — Пушкина, Бутлерова, Островского, Баумана.

У Ленинского сада строй суворовцев, по команде Пирожинского, замер, пораженный чудом: навстречу нам, важно колыхая серыми тушами, вышагивали слоны. А на них сидели и стояли артисты из группы знаменитого дрессировщика Владимира Дурова с беспокойными мартышками и макаками, кошками и собачками в руках и на плечах.

А дальше, с Кольца, — площади, названной двадцать лет назад именем почившего в бозе царского кадета-большевика Куйбышева, — мы, советские кадеты-суворовцы, втиснулись в узкую, и без нас переполненную народом, главную улицу татарской столицы — Баумана. И здесь снова пожинали плоды пока незаслуженной славы — как аванс за то, что в будущем непременно украсим ряды российской армии-победительницы. Казань гордилась, что и в ней, «кривой и косой», как некогда показало поэту Маяковскому, появились недавно мы, суворовцы, — в основном сыновья, внуки и братья погибших на фронтах защитников Родины.

А фельдшернице нашей медсанчасти, матери одного из кадет, Юрки Матвеева из четвертой роты, похоронка на убитого мужа и отца двух сыновей пришла именно в День Победы. Весть об этом облетела все училище, когда я и многие ребята, еще до торжественного построения для марша по городу, видели, как Юркину мать выводили под руки, словно не живую, с крыльца медсанчасти.

После возвращения в расположение суворовского всем, кто пожелал, было предоставлено увольнение в город. Даже тем, кто провинился или имел за неделю плохие оценки. Амнистия в честь Победы!..

Командир роты подполковник Петрунин, за свой нордический характер прозванный нами Каленым Железом, разрешил мне взять с ночевкой у нас дома Вовку Коробова, москвича.

Моя сестра Наталья и ее муж, Ахмет Касимович Аюпов, тогда работали инструкторами обкома ВКП(б). А моя мама возилась с их дочерьми — двухгодовалой Светкой и пятимесячной Гелькой. Суровый дядя Ахмет был старше меня на четверть века и относился ко мне, как к взрослому сыну. Поэтому за праздничным столом он, уже изрядно поддатый, игнорируя протесты жены-педагога, налил в граненые стаканы нам, кадетам с алыми погонами на черных мундирах, водки — по сто граммов «бое-

вых», чтобы за компанию с ним, партийным патрищем, выпить за Победу.

После застолья мне удалось стырить у дяди Ахмета папироску «Казбека». И, помню, мы стояли у нашего дома с Вовкой, на углу улиц Малая Галактионовская и Пушкинская, затягиваясь по очереди сладким дымом стибренной папироски, и вспоминали каждый свою войну — он ту, что пережил в Москве, а я — в Мамадыше. И совместную военную биографию — в суворовском, с сентября сорок четвертого по этот победный праздник. Смотрели, как через улицу, над молодой зеленью лип и кленов Ленинского садика и над невидимым отсюда казанским кремлем, то и дело взлетали в майское небо зеленые, белые и красные ракеты, сохраненные ранеными фронтовиками специально для этого долгожданного дня — Дня Победы.

\* \* \*

Вовка Коробов свою карьеру начал вице-сержантом и помощником командира нашего, второго, взвода третьей роты Казанского СВУ. После пехотного училища он закалялся в необъявленных войнах: умирал смутьянов в Восточной Германии, Венгрии, Чехословакии. Шесть дней воевал против Израиля на стороне Египта. Стал полковником. Вышел в отставку после службы в Генеральном штабе Вооруженных Сил. Отметил свое семидесятипятилетие и в тот же год завершил земное странствие. Слава Богу, не на поле боя...

Да и автор этих строк относится к числу последних пишущих свидетелей, переживших и запомнивших свою Отечественную с первого дня до последнего.

